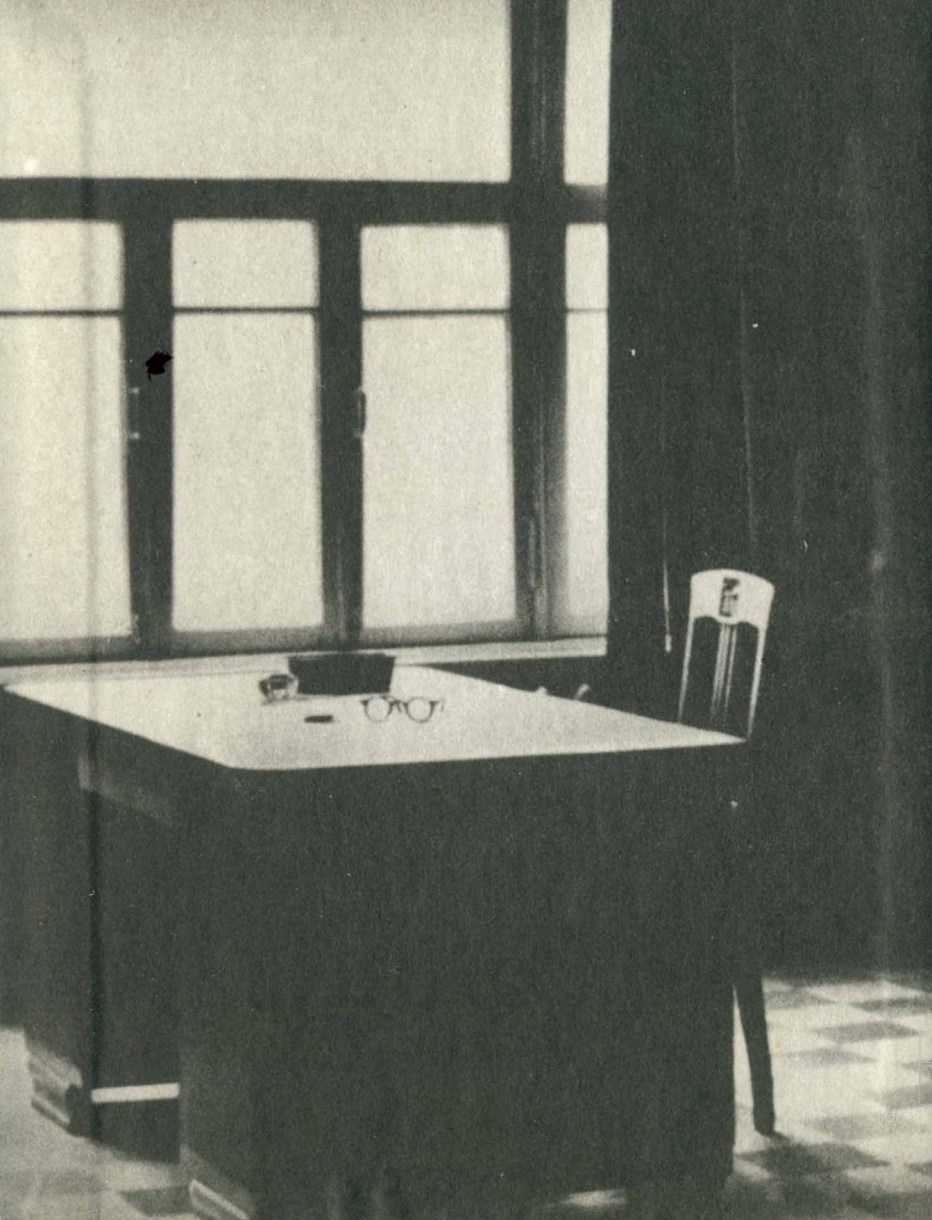


С разных точек зрения



**• ДОКТОР ЖИВАГО •**  
Бориса Пастернака





Моясь к тебе и твоему  
Моясь к тебе и твоему  
Каравану твоему

~~Полноба~~

~~Кера зыгера  
Томас~~

Ах те ерси ет теу пларс  
Те ет кару теу Теу аис

Земнопофине  
Земнопофине







*С разных точек зрения* • **ДОКТОР ЖИВАГО** • Бориса Пастернака





*С разных точек зрения*

# •ДОКТОР ЖИВАГО•

Бориса Пастернака

Москва  
Советский писатель  
1990



ББК 83 ЗР 7

С 11

С о с т а в и т е л и  
*Л. В. Бахнов*  
*Л. Б. Воронин*

*Художник*  
**СЕМЕН БЕЙДЕРМАН**

4603020101 — 267  
С ————— 449—90  
083 (02) — 90

ISBN 5—265—01511—6

© Издательство «Советский писатель», 1990

## КНИГА СУДЕБ И СУДЬБА КНИГИ

Перед тобой, читатель, Белая книга документов и статей, посвященных книге «Гефсиманского сада» и «Белой ночи».

Подводя итог двадцатому столетию, мы видим, что ни одно писательское творение нашего века не вызвало такого резонанса в мире, как роман «Доктор Живаго». Великий, считавшийся самым аполитичным, поэт стал политическим символом свободы и борьбы против подавления личности. Им восхищались, клялись, его исключили, кляли. Лидеры мировых держав включились в борьбу вокруг романа. Для миллионов, а то и миллиардов людей его имя стало символом, кодовым словом. И так до сих пор.

Хайдеггер считал, что искусство не только отражает, но и может творить историю. Роман Пастернака творил события не только духовно, но буквально. Политики шли в крестовые походы за и против романа. Появились дубленки, называемые «стиль Живаго». Итальянский издатель Джанжакомо Фельтринелли, бывший до этого членом компартии, в результате скандала с изданием пастернаковского романа, под давлением наших бонз, был вынужден покинуть ряды ИКП. Он ушел влево, стал одним из вдохновителей мирового левого терроризма в Западной Европе и Южной Америке... Думаю, всего этого не случилось бы, останься он в ИКП. Так роман о любви диктовал политику.

Судьба Пастернака воплотила извечную российскую альтернативу «поэт — царь». Ныне ищут альтернативу Сталину. Называют варианты: Бухарин, Троцкий, Рыков... Увы, это все карты той же колоды. Духовной альтернативой тирану был Пастернак. Тиран понимал это. О жизни и



смерти, то есть о Боге, предлагал поговорить со Сталиным поэт во время их телефонного разговора.

Когда Н. Хрущев, человек в общем-то противоречивый, воссел на трон, духовную альтернативу время возложило опять на Пастернака. Хрущев, не отягощенный грузом культуры, все же чуял это. Отсюда организованная им травля романа, не читанного тогда им. Он не доверял интеллигенции. Ложь была стандартным методом этого простодушного, в чем-то великого, правителя — шла ли речь о Карибском кризисе, или о «народном» желании отменить выплаты по облигациям, или о построении Коммунизма в 1980 году. Так же лгали о «Докторе Живаго».

Чудовищная тридцатилетняя Ложь нашей пропаганды вокруг пастернаковского романа выдавала его за политического монстра. Публикация романа открыла и развеяла эту ложь.

Отмена позорного исключения поэта из Союза писателей стала актом общественным, за которым последовало восстановление справедливости по отношению к другим неправомерно исключенным и оговоренным. И здесь прежде всего надо вспомнить об Анне Ахматовой и Михаиле Зощенко. Наконец-то признано постыдным постановление ЦК ВКП(б) 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Напечатанная и прочитанная миллионами книга обретает иную судьбу, чем рукопись. Миллионы читателей, вдохнувших свои надежды, пусть не оправдавшиеся и наивные, в книгу, как в исповедальный ящик, исходящим от них энергетическим полем изменяют судьбу произведения, наполняя ее своим смыслом и судьбами.

Так случилось с «Доктором Живаго». Я жду того времени, когда читатель сможет со всей полнотой ощутить вольный, бесценный воздух романа, не заслоненный злободневной политикой.

Увы, политическая роль романа не остыла и по сегодня. После публикации «Доктора Живаго» появились неопроработанные статьи. Дело читателей, — конечно, не тех, кто, не зная романа, самоуверенно заявлял: «Я не читал, но...» — осмыслить критические отклики и исследовательские экскурсы, соотнести их со своими внутренними интересами, пристрастиями и устремлениями.

Но мне выпала доля не только предвзвешивать в этой книге размышления и споры о «Докторе Живаго», я и сам участвовал в них. На страницах

«Правды» мне пришлось отвечать критику Д. Урнову, негативно отнесшемуся к роману Пастернака. Мой ответ публикуется здесь буквально в таком виде, как он и был напечатан в «Правде», слегка смягченный редакцией газеты. Так что моя роль в книге раздваивается: с одной стороны, я должен быть как бы беспристрастным арбитром, а с другой — не считаю нужным скрывать, что люблю этот роман.

С горечью перечитываю давние уничижительные отзывы о нем, среди которых выделяется преступная статья Д. Заславского. Представленные в книге мнения отражают и разноголосицу суждений профессиональных критиков, чьи статьи и рецензии появились после нынешней публикации «Доктора Живаго», и отклики его сегодняшних читателей. Сквозь эти статьи и отклики «просвечивают» не только эстетические, но и политические позиции авторов.

По-другому разнятся точки зрения в осмыслении романа его первоочитателями — друзьями и близкими Бориса Леонидовича Пастернака. Они далеки от конъюнктурных соображений. И тем весомее и убедительнее эти оценки, которые донесла до нас переписка Б. Пастернака. Она составляет тома и заслуживает особого, пристального внимания. Письма Бориса Пастернака драгоценны. В них поэт предстает философом на уровне ведущих русских и европейских философов. Именно ныне нам необходимо это общечеловеческое осмысление мира.

Думается, что гены прозы Пастернака в его поэзии. И это отнюдь не только в «Девятьсот пятом годе». В строках поэта крепились «прозы пристальной крупницы», они развивались в томах и других романистов.

Возьмем В. Набокова, ненавистника «Доктора Живаго». Читаем его «Защиту Лужина». Вы помните, как герой, шахматный русский гений, выходит на балкончик своей комнаты в немецком городке? Он глядит на луну, которая, дрожа, выпутывалась из черной листвы, и ему мерещится его партия с Турати. Ночь полна белых и черных фигур — черно-белая шахматная партия. «Лужин повернулся и шагнул в свою комнату, там уже лежал на полу огромный прямоугольник лунного света...» И еще: «Он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что этой липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот телеграфный столб...»

Где мы читали это? Русский глядит на марбургскую ночь.



Ведь ночи играть садятся в шахматы  
Со мной на лунном паркетном полу,  
Акацией пахнет, и окна распахнуты,  
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.  
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.  
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,  
Я белое утро в лицо узнаю.

«Марбург» Пастернака — завязь набоковского романа.

Свой роман поэт напишет позднее, готовясь к нему всю жизнь...

Собранные здесь архивные и эпистолярные документы, статьи о «Докторе Живаго», свидетельствующие о горячей, злободневной полемике вокруг него в течение тридцати лет, — не говорит ли все это о подлинно живой жизни романа?!

*Андрей Вознесенский,  
председатель Комиссии СП СССР  
по литературному наследию  
Б. Пастернака*

*I*  
*часть*

**В Ч Е Р А**

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ «НОВОГО МИРА»

Одиннадцатая книга была уже сверстана, когда пришли сообщения об антисоветской кампании, поднятой зарубежной реакцией по поводу присуждения Б. Пастернаку Нобелевской премии. В связи с этим ниже публикуется письмо, направленное в сентябре 1956 года членами тогдашней редколлегии журнала «Новый мир» Б. Л. Пастернаку по поводу рукописи его романа «Доктор Живаго».

Письмо это, отклонявшее рукопись, разумеется, не предназначалось для печати. Оно адресовано автору романа в то время, когда еще можно было надеяться, что он сделает необходимые выводы из критики, содержащейся в письме, и не имелось в виду, что Пастернак встанет на путь, позорящий высокое звание советского писателя.

Однако обстоятельства решительно изменились. Пастернак не только не принял во внимание критику его романа, но счел возможным передать свою рукопись иностранным издателям. Тем самым Пастернак пренебрег элементарными понятиями чести и совести советского литератора и гражданина. Будучи издана за границей, эта книга Пастернака, клеветнически изображающая Октябрьскую революцию, народ, совершивший эту революцию, и строительство социализма в Советском Союзе, была поднята на щит буржуазной прессой и принята на вооружение международной реакцией.



Совершенно очевидно, что присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии не имеет ничего общего с объективной оценкой собственно литературных качеств его творчества, которое носит сугубо индивидуалистический характер, далеко от жизни народа, отходит от реалистических и демократических традиций великой русской литературы. Присуждение премии связано с антисоветской шумихой вокруг романа «Доктор Живаго» и является чисто политической акцией, враждебной по отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной войны.

Вот почему мы считаем сейчас необходимым предать гласности письмо Б. Пастернаку. Оно с достаточной убедительностью объясняет, почему роман Пастернака не мог найти места на страницах советского журнала, хотя, естественно, не выражает той меры негодования и презрения, какую вызвала у нас, как и у всех советских писателей, нынешняя постыдная, антипатриотическая позиция Пастернака.

*Главный редактор журнала «Новый мир»*

*А. Т. Твардовский*

*Редакционная коллегия:*

*Е. Н. Герасимов,*

*С. Н. Голубов,*

*А. Г. Дементьев*

*(зам. главного редактора),*

*Б. Г. Закс,*

*Б. А. Лавренев,*

*В. В. Овечкин,*

*К. А. Федин*

24 октября 1958 г.

«Новый мир», 1958, № 11

**ПИСЬМО ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИИ  
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
Б. ПАСТЕРНАКУ**

Борис Леонидович!

Мы, пишущие сейчас Вам это письмо, прочли предложенную Вами «Новому миру» рукопись Вашего романа «Доктор Живаго» и хотим откровенно высказать Вам все те мысли, что возникли у нас после чтения. Мысли эти и тревожные, и тяжелые.

Если бы речь шла просто о «понравилось — не понравилось», о вкусовых оценках или пусть резких, но чисто творческих разногласиях, то мы отдаем себе отчет, что Вас могут не интересовать эстетические препирательства. «Да-да!» «Нет-нет!» — могли бы сказать Вы. «Журнал отвергает рукопись — тем хуже для журнала; а художник остается при своем мнении о ее эстетических достоинствах».

Однако в данном случае дело обстоит сложнее. Нас взволновало в Вашем романе другое, то, что ни редакция, ни автор не в состоянии переменить при помощи частных изъятий или исправлений: речь идет о самом духе романа, о его пафосе, об авторском взгляде на жизнь, действительном или, во всяком случае, складывающемся в представлении читателя. Об этом мы и считаем своим прямым долгом поговорить с Вами, как люди, с которыми Вы можете посчи-

таться и можете не посчитаться, но чье коллективное мнение Вы не имеете оснований считать предубежденным, и, значит, есть смысл, по крайней мере, выслушать его.

Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Встающая со страниц романа система взглядов автора на прошлое нашей страны, и прежде всего на ее первое десятилетие после Октябрьской революции (ибо, если не считать эпилога, именно концом этого десятилетия завершается роман), сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней для той части интеллигенции, которая ее поддерживала, было непоправимой бедой, а все происшедшее после нее — злом.

Для людей, читавших в былые времена Ваш «Девятьсот пятый год», «Лейтенанта Шмидта», «Второе рождение», «Волны», «На ранних поездах» — стихи, в которых, как нам, по крайней мере, казалось, был иной дух и иной пафос, чем у Вашего романа, прочесть его было тяжелой неожиданностью.

Думается, что мы не ошибемся, сказав, что повесть о жизни и смерти доктора Живаго в Вашем представлении одновременно повесть о жизни и смерти русской интеллигенции, о ее путях в революцию, через революцию и о ее гибели в результате революции.

В романе есть легко ощутимый водораздел, который, минуя данное Вами самим роману деление на две книги, пролегает примерно между первой его третью и остальными двумя третями. Этот водораздел — семнадцатый год — водораздел между ожидавшимся и свершившимся. До этого водораздела Ваши герои ожидали не того, что свершилось, а за этим водоразделом начинает свершаться то, чего они не ожидали, чего не хотели и что в Вашем

изображении приводит их к физической или моральной гибели.

Первая треть Вашего романа, посвященная предреволюционному двадцатилетию, еще не содержит в себе отчетливо выраженного неприятия надвигавшейся революции. Но, думается, корни этого неприятия заложены уже здесь. В дальнейшем, когда Вы начнете изображать уже свершившуюся революцию, Ваши взгляды сложатся в систему более стройную, прямолинейную и цельную в своем неприятии революции. Пока же, в первой трети романа, они еще противоречивы: с одной стороны, абстрактно, декларативно, Вы признаете мир буржуазной собственности и буржуазного неравенства несправедливым и не только отказываетесь от него как от идеала, но и мыслите его неприемлемым для будущего человечества. Однако лишь только от этой общей декларации Вы переходите к изображению жизни, к людям, то они, эти люди — и сами хозяева несправедливой буржуазной жизни, и их интеллигентные слуги, служащие сохранению этой декларативно признаваемой Вами несправедливости, — все они оказываются, за редчайшим, вроде проходимца Комаровского, исключением, прекраснейшими, добрейшими, тончайшими людьми, творящими добро, мятущимися, страдающими, неспособными обидеть мухи.

Весь этот мир предреволюционной буржуазной России, декларативно, с общих позиций отрицаемый Вами, практически, как только дело доходит до его конкретного изображения, оказывается вполне приемлемым для Вас, больше того, до щемящей нежности милым авторскому сердцу. Неприемлема в нем лишь некая общая, неизменно остающаяся за сценой несправедливость эксплуатации и неравенства, и все, что происходит на сцене, оказывается в итоге весьма идиллическим: капиталисты жертвуют на революцию и живут по совести, интеллигенция ощущает полную свободу духа и независимость своих суждений от бюрократической машины царского режима, бедные



девушки находят богатых и бескорыстных покровителей, а сыновья мастеровых и дворников без затруднения получают образование.

В общем люди, живущие в романе, живут хорошо и справедливо, некоторым из них хочется жить еще лучше и еще справедливее — вот, в сущности, и вся та мера причастности к ожиданию революции, которая, как максимум, присуща главным героям романа. Подлинного же положения страны и народа в романе нет, а вместе с ним нет и представления о том, почему революция в России сделалась неизбежной и какая нестерпимая мера страданий и социальных несправедливостей привела народ к этой революции.

Большинство героев романа, в которых любовно вложена часть авторского духа, — люди, привыкшие жить в атмосфере разговоров о революции, но ни для кого из них революция не стала необходимостью. Они любят в той или иной форме поговорить о ней, но существовать они прекрасно могут и без нее, в их жизни до революции нет не только ничего нестерпимого, но и нет почти ничего отравляющего, хотя бы духовно, их жизнь. А иных людей, чем они, в романе нет (если говорить о людях, наделенных симпатией автора и изображенных хотя бы со схожей мерой глубины и подробности).

Что же касается декларативно страдающего за сценой народа, то он в первой трети романа есть нечто неизвестное, предполагающееся, и истинное отношение автора к этому неизвестному выяснится лишь потом, когда свершится революция и этот народ вступит в действие.

Первая треть романа — это прежде всего история нескольких живущих разносторонней интеллектуальной жизнью, сосредоточенных главным образом на проблеме собственного духовного существования одаренных личностей. Одна из этих одаренных личностей — Николай Николаевич — говорит в самом начале романа, что «всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно вер-

ность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало».

В контексте эта фраза связана с богоискательством Николая Николаевича, но начиная со второй трети романа мы увидим, как она постепенно станет сконденсированным выражением отношения автора и к народу, и к революционному движению.

И вот наступает, вернее, обрушивается, революция. Она обрушивается на героев Вашего романа неожиданно, потому что, сколько б они предварительно ни говорили о ней, практически они ее не ждали и практика ее повергла их в изумление. Говоря о том, как революция входит в Ваш роман, даже трудно четко отделить Февральскую революцию от Октябрьской. В романе это выглядит как все вместе взятое, как вообще семнадцатый год, на протяжении которого сначала все переменялось, не так уже резко и не столь заметно нарушило прежнюю жизнь «ищущих истину одиночек» — Ваших героев, а потом пошло меняться все дальше, дальше, резче, круче. Жизнь их все больше становится в зависимость от того громадного и небывалого, что происходило в стране, а эта зависимость в свою очередь дальше — больше стала озлоблять их и заставлять жалеть о том, что произошло.

Умозрительно трудно представить себе роман, многие главы которого посвящены 1917 году и в котором в то же время не существовало бы, как таковых, Февральской или Октябрьской революций с той или иной, но все же определенной оценкой социальной дистанции между тем и другим.

Умозрительно это трудно себе представить, но практически в Вашем романе дело обстоит именно так! Трудно себе представить, что сначала Февральская, а потом Октябрьская революции, размежевавшие на разные лагеря столько людей именно в эти поворотные пункты, не

определили бы позиций героев романа, написанного о том времени. Трудно себе представить, что люди, жившие духовной жизнью и занимавшие определенное положение в обществе, не определили бы так или иначе в то время свое отношение к таким событиям, как свержение самодержавия, приход к власти Керенского, июльские события, мятеж Корнилова, Октябрьский переворот, взятие власти Советами, разгон Учредительного собрания.

Между тем в романе герои ни о чем из упомянутого не говорят впрямую, не дают прямых оценок событиям, которыми в это время жила страна. Можно, конечно, сказать, что автор просто не пожелал назвать вещи своими именами, не захотел давать им ни собственных прямых оценок, ни прямых оценок устами героев, и, может, в этом утверждении и будет часть истины, но думается, что вся истина глубже этого частичного объяснения. А истина, на наш взгляд, заключается в том, что выведенные в романе «ищущие истину одиночки» постепенно все больше озлобляются против развертывающейся революции, не в связи с неприятием тех или иных конкретных форм ее, как Октябрьский переворот или разгон Учредительного собрания, а в связи с теми разнообразными личными неудобствами, на которые обрекает их лично процесс революции.

Представленные поначалу автором как люди идейные, вернее, как люди, живущие в мире идей, эти «ищущие истину одиночки» после того, как их разговоры о революции сменяются происходящим помимо них в стране революционным действием, оказываются почти поголовно людьми, далекими от желания отстаивать в жизни те или иные идеи и тем более жертвовать за эти идеи жизнью, будь они, эти идеи, революционными или контрреволюционными.

Они, по-видимому, как бы продолжают жить духовной жизнью, но отношение их к революции и прежде всего их поступки все более настойчиво определяются той мерой личных неудобств, которые революция им приносит,— голодом, холодом, уплотнением квартир, разрушением

привычного сытого удобного дореволюционного быта. Пожалуй, трудно найти в памяти произведение, в котором герои, претендующие на высшую одухотворенность, в годы величайших событий столько бы заботились и столько бы говорили о еде, картошке, дровах и всякого рода житейских удобствах и неудобствах, как в Вашем романе.

Герои романа, и в первую очередь сам доктор Живаго со своей семьей, проводят годы революции и гражданской войны в поисках относительного благополучия — сытости и покоя среди всех превратностей борьбы, среди всеобщего народного разорения. Они физически не трусы, Вы как автор подчеркиваете это, но в то же время их единственная цель — сохранение собственной жизни, и прежде всего во имя этого они и совершают все свои главные поступки. И именно то, что в условиях революции и гражданской войны их жизнь может не сохраниться, приводит их ко все большему раздражению против всего происходящего. Они не стяжатели, не сладкоежки, не чрезмерные любители житейских удобств, все это им нужно не само по себе, а лишь как база для непрерывного и безопасного продолжения духовной жизни.

Какой? Той, которой они жили раньше, ибо ничто новое не входит в их духовную жизнь и не изменяет ее. Возможность привычно продолжать ее, без помех со стороны, является для них высшей, не только личной, но и общечеловеческой ценностью, и поскольку революция упрямо требует от них действий, позиции, ответа на вопрос «за» или «против», постольку они в порядке самообороны переходят от ощущения своей чуждости революции к ощущению своей враждебности к ней.

В те суровые годы, потребовавшие самых разных жертв не только от людей, свершавших революцию, но и от ее врагов, людей, с оружием в руках боровшихся с ней, «ищущие истину одиночки» оказались на поверку просто-напросто «высокоодаренными» обывателями, и, право,

трудно себе представить, как бы сложилось в дальнейшем отношение к революции, например, у семьи Живаго, не оказись она по тем или иным причинам в зиму восемнадцатого года до такой степени голодной и уплотненной в своей московской квартире, как это произошло в романе. Но в Москве оказалось голодно, холодно и трудно, — и вот «ищущая истину одиночка» превращается в интеллигентного мешочника, желающего продолжить свое существование любыми средствами, вплоть до забвения того, что он врач, вплоть до сокрытия этого в годы всенародных бедствий, болезней, эпидемий.

«В том сердце задуманном, новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности», — говорит доктор Живаго на одной из страниц романа, говорит еще безотносительно к своему будущему существованию в годы гражданской войны. Но впоследствии оказывается, что в его замечании заложен глубокий смысл, имеющий отношение непосредственно к нему самому. В трудные годы гражданской войны с полной ясностью обнаруживается, что для него нет народа, есть только он сам — личность, интересы и страдания которой превыше всего, личность, которая ни в какой мере не ощущает себя частью народа, не чувствует своей ответственности перед народом.

Из всех человеческих ценностей для доктора Живаго, как только он попадает в обстановку жестоких всенародных испытаний, остается лишь одна ценность — ценность собственного «я»; и уже через эту ценность, как дополнительная ценность, люди, так или иначе непосредственно причастные к этому «я». Это «я», олицетворенное в себе и своих близких, не только единственное, о чем стоит заботиться, но в общем единственно существенная в мироздании ценность, все настоящее и все прошлое олицетворяется в этом «я», если оно погибнет, все погибнет вместе с ним.

Недаром в полный унисон мыслям самого Живаго



Лариса Федоровна говорит ему в разгар гражданской войны: «Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга, и друг к другу льнем».

Открывается новая страница истории человечества — под влиянием Великой Октябрьской революции на десятилетия вперед приходят в движение сотни миллионов людей во всем мире, но единственной ценностью и единственным воспоминанием обо всем «неисчислимо великом» прошлом человечества оказываются в этот момент доктор Живаго и человек, делящий его жизнь! Не кажется ли Вам, что в этом почти патологическом индивидуализме есть наивная выпренность людей, не умеющих и не желающих видеть ничего вокруг себя и поэтому придающих самим себе комически преувеличенное значение?

На одной из страниц романа Вы устами доктора Живаго говорите, что «принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение». Это оборотная сторона авторской претензии на то, что Ваши «ищущие истину одиночки» являются людьми незаурядными, людьми, которых не подверстаешь под какой-то определенный тип, людьми, которые выше этого.

Однако с этим авторским мнением трудно согласиться. Нам не хотелось бы отказать себе в праве определить и доктора Живаго и других, близких ему по духу героев романа, как явление достаточно типическое в эпоху революции, гражданской войны, да и в последующее время. Мы меньше всего хотели бы утверждать, что таких людей не было или что судьба доктора Живаго далека от типической.

На наш взгляд, доктор Живаго как раз олицетворяет

в себе определенный тип русского интеллигента тех лет, человека, любившего и умевшего говорить о страданиях народа, но не умевшего быть врачом этих страданий ни в буквальном, ни в переносном смысле. Это тип человека, полного ощущения своей исключительности и самодовлеющей ценности, человека, далекого от народа и готового в трудную минуту изменить народу, отойдя в сторону и от его страданий, и от его дела. Это тип «высокоинтеллигентного» обывателя, смиренного, когда его не трогают, легко озлобляющегося, когда его трогают, и готового в мыслях да и в поступках на любую несправедливость по отношению к народу, как только он лично начнет ощущать малейшую, действительную или мнимую, несправедливость по отношению к себе.

Такие люди были, и их было немало, и спор с Вами идет не о том, были ли они или не были, а о том, заслуживают ли они той безоговорочной апологии, которой полон Ваш роман; являются ли они тем цветом русской интеллигенции, каким Вы всеми средствами своего таланта стремитесь представить доктора Живаго, или они являются ее болезнью. Появление этой болезни в эпоху безвременья и реакции между первой и второй русскими революциями вполне объяснимо, но стоит ли выдавать этих людей с их обывательской бездейственностью в критические моменты, с их трусостью в общественной жизни, с их постоянным уклонением от ответа «с кем ты?» за высшие существа, якобы имеющие право на объективный суд надо всеми окружающими, и прежде всего над революцией и народом.

А ведь Вы именно устами этих людей, и прежде всего устами самого Живаго, стремитесь произвести суд надо всем свершившимся в нашей стране начиная с Октябрьской революции. Причем, не прибегая ни к каким преувеличениям, можно с полным правом сказать, что Вами, автором, никому не отдано в романе столько безоговорочной симпатии, как доктору Живаго и людям, разделяющим его

взгляды до такой степени, что их диалоги в большинстве случаев похожи больше на разговоры с самим собой.

Можно добавить к этому, что ни на что другое в романе не употреблено столько тщания и таланта, как на выражение мыслей и взглядов этих людей, и что представители иных взглядов существуют в романе чисто количественно, употребляя Ваше выражение — «стадно». Они безгласны и не наделены ни способностью мыслить, ни способностью что-нибудь опровергать на том суде, который в Вашем романе производится над революцией и в котором и судья, и прокурор, в сущности, олицетворяются в одном лице — в лице Живаго. Ему дано от автора несколько помощников, которые с разными оттенками поддакивают его обвинительным речам, но на этом суде отсутствуют защитники всего того, что осуждает Живаго.

А между тем по мере неудобств и лишений, приносимых ему революцией, Живаго осуждает ее все более озлобленно и непримиримо. Нам кажется не лишним проследить ход этого однобокого процесса. Это следует сделать не ради избытка цитат, а ради того, чтобы Вы сами увидели все это разом, вместе. Быть может, пока это было рассыпано порознь среди перипетий громадного романа, Вы сами не до конца осознали, что написано Вами. Хотелось бы верить в это.

Вот доктор Живаго едет в Юртин и спорит с Костоедовым, который говорит ему, что он ничего не знает и знать не хочет: «А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы! Зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мною и навязывает мне, что хочет, позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите мне: «слова не сходятся с действительностью» — а есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается».

А вот другое рассуждение, относящееся к тому же восемнадцатому или девятнадцатому (это в романе трудно оп-

ределить) году, к той же поездке в Юртин. На этот раз тирада принадлежит не самому Юрию Андреевичу, а его тестю, Александру Александровичу, человеку, с которым они на всем протяжении гражданской войны живут в полном согласии и в разговоры с которым надо тщательно вчитываться, чтобы единственно по знакам препинания определить, что в них принадлежит Живаго, а что — Александру Александровичу.

«Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса. Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой, в метель. Помнишь, как это было неслышанно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первозданной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне поверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают».

Так говорит Александр Александрович в ответ на вопрос Живаго о том, как им совместно выработать наиболее приличные формы мимикрии, такие, чтобы не краснеть друг за друга. Заключительные слова насчет вынужденных поступков сказаны тут, в общем, всеу, — никаких особых поступков в пользу революции ни Живаго, ни Александр Александрович не совершили, а просто, оказавшись при большевиках в Москве, служили, получали за это паек, а потом, когда он оказался недостаточным, поехали искать более сытное место. Всеу — и насчет обязанности. Весь последующий ход романа показывает, что и у Александра Александровича, и у Живаго нет намека на ощущение своих обязанностей перед революцией или народом. Что же остается? Утверждение, что их обманули, что однажды ночью им понравилась прямолинейность первых совет-

ских декретов, а потом, когда прямолинейность этих декретов стала претворяться в жизнь и затронула их собственный быт, они почувствовали, что эта власть против них. Рассуждения объяснимые, необъяснимо другое — зачем выдавать истца за судью!

Но за революцией, принесшей неудобства и лишения доктору Живаго, стоит определенная философия: революция не права по отношению к Живаго, поэтому не права и стоящая за ней философия, значит, следует объявить ее несостоятельной.

«— Марксизм и наука? — спрашивает в начале второго тома доктор Живаго.— Спорить об этом с человеком мало-знакомым, по меньшей мере, неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтоб быть наукой. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм».

В этой филиппике против марксизма чувствуется уже достаточно раздражения, но в полную свою меру оно проявляется несколько позднее, когда Живаго встречается в Юрятине с Ларисой Федоровной. (Судя по некоторым намекам, это девятнадцатый год.)

«— Вы изменились,— говорит она.— Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.

— В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выясняется, что для вдохновителей революции суматоха перемени и перестановок — единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не научились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суэта этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее



ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку?»

Итак, Живаго в девятнадцатом году уже считает, что революции было пора прийти к чему-нибудь, а она не пришла. К чему — этого мы не знаем! Судя по его эгоцентрическим взглядам на то, что хорошо, и на то, что плохо, по крайней мере к тому, чтобы он, Живаго, снова жил той же нормальной и безбедной жизнью, какой он жил до революции. Однако революция еще не сделала для него этого, и он сердит на нее и выносит приговор и ей самой, и ее деятелям: они не одарены, ничему не научились и ничего не умеют...

А гражданская война кажется ему незрелой выдумкой, побегом чеховских школьников в Америку. Остроумие довольно дешевое, но злость, надо отдать должное, не шуточная!

Вокруг Живаго происходит ломка и переделка жизни, ломка жестокая, кровавая, трудная, целесообразность и правоту которой можно оценить только с позиций общественных интересов, с позиций человека, который ставит народ превыше всего. Но именно этой позиции нет у Живаго — его позиция противоположна. Он судит народ и творимое народом с позиции своего личного физического и духовного благополучия, и совершенно естественно, что, стоя на этой позиции, он, в условиях гражданской войны, чем дальше, тем чаще возвращается к мысли, что оставленное им позади для него лучше той действительности, в которой он существует. А так как благополучие его существования есть вообще главный критерий всего на свете, то, стало быть, затеянная переделка жизни ни к чему, и он скорее за возврат к старому, чем за продолжение этой переделки.

«Во-первых,— говорит он командиру партизанского отряда Ливерию Аверкиевичу,— идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспаляют. Во-вторых, это все еще далеко от осущест-

вления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние».

И, сказав это, он снова возвращается к той же мысли немножко дальше:

«Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и выдавшие виды, ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий».

Итак, переделка жизни не нужна, а теории, вдохновляющие эту переделку, тупоумны!

Под прикрытием красивых слов об обновляющем и перерабатывающем начале самой жизни ожесточенный вопль: не трогайте меня! Верните мне то, что я имел, ибо это для меня главное, а на остальное мне наплевать! Через страницу Живаго говорит об этом уже с полной откровенностью:

«Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, и я не люблю вас и ну вас всех к черту».

Трудно представить себе более зоологическое отщепенство, чем эта позиция: может быть, то, что вы делаете для России, и полезно, но мне наплевать на это!

И вот, вернувшись из партизанского отряда, куда его забрали силой, потому что некому было лечить раненых, и где он стрелял в белых, сочувствуя им, и лечил красных, чувствуя к ним отвращение, доктор Живаго возвращается в Юрятин и видит новые декреты, развешанные в занятом

красными городе. И здесь он снова вспоминает о том, о чем вспоминал его тесть, когда они ехали из Москвы, о первых декретах революции.

«Что это за надписи? — думает он, глядя на декреты. — Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шальных выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя?»

Ощущение побеждающей революции до такой степени угнетает Живаго, что он готов проклинать себя, — нет, не за дела и поступки, совершенные во имя революции, таких дел и поступков за ним не числится, а всего лишь за одно минутное восхищение первыми декретами Советской власти!

Такова философия главного героя Вашего романа, человека, которого так же нельзя вынуть из него, как душу из тела. Таков ход его мыслей о революции, таков его прокурорский тон, такова его сила ненависти к революции.

Можно было бы привести еще много мест из романа, которые бы на разных этапах и в разных вариациях повторяли те же суждения, но, пожалуй, это излишне, — общий ход предпринятого доктором Живаго судопроизводства над революцией и так ясен.

Этот суд можно, не колеблясь, назвать шемякиным судом, причем злобность той кривды, к которой приходит Живаго в своих суждениях о революции, усугубляется ощущением его собственного бессилия хоть как-нибудь встать ей поперек дороги. Доктор Живаго психологически раздвоен: его внутренней ненависти к революции хватило бы на двух деникиных, но так как он в то же время считает высочайшей мировой ценностью свое «я», то во имя

безопасности этого «я» он не может и не хочет рискнуть ни на какие прямые контрреволюционные действия и, духовно определившись по ту сторону, физически продолжает находиться между двумя лагерями. В этом смысле особенно показательна четвертая глава второй книги Вашего романа.

Мы тут уже упоминали об этой главе мельком, но для того, чтобы до конца определить всю пропасть между нашим отношением к доктору Живаго, такому, каким Вы написали его в романе, и Вашим собственным авторским отношением к нему, нам кажется необходимым вернуться к этой главе. Она не велика, давайте перечтем ее вместе полностью.

«По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное, незащищенное пространство, по которому шли белые, наступаая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчишки и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты-первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины их казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья? Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, воодушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев, и, бравируя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически погибших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал ле-



жать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было невысказанно и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следствии порядку совершающегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вывернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречивым его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере все уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но, о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий двигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на шнурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: «Живый в помощи вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишися... от стрелы летящая во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом. А грамотка «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» Стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в

платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательной и любящей рукой, наверное, материнской, было вышито «Сережа Ранцевич» — имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Серезиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик, или тавлинка, с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив, как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебежали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переделал не приходившего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне поправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными».

Уже прочтя весь роман, мы снова и снова в мыслях возвращались к этой главе, потому что она — ключ к очень многому. Думается, нет смысла спорить, что вся глава написана с позиций полного авторского сочувствия к доктору Живаго и безраздельного оправдания всех его мыслей и поступков.

Но что это за мысли и что это за поступки? Чему Вы сочувствуете и что Вы оправдываете как автор?

Итак, насильственно мобилизованный врач вынужден быть у партизан. Доктору Живаго, по Вашим словам, приходится нарушить международную конвенцию о Красном Кресте и принять участие в боевых действиях. Люди, которые идут в атаку на партизанскую цепь, где находится и доктор, в его глазах прекрасны, привлекательны, героичны. Все его сочувствие на их стороне. Они близки ему по духу, по нравственному складу, он от души желает им удачи, то есть не будет преувеличением сформулировать, что он всецело на их стороне духовно. Спрашивается, что же останавливает его от того, чтобы, как Вы пишете, — обретя избавление, перейти на их сторону и физически. Только одно то, что это сопряжено с опасностью для жизни. Вот и все! И Вы, очевидно, вполне искренне считаете это объяснение вполне достаточным для того, чтобы не только объяснить, но и оправдать двурушничество Вашего героя. Вы называете это более изысканно «двойственностью чувств», но, право же, по отношению к человеку, который, лежа с теми, кого он ненавидит, стреляет в тех, кого он любит, единственно ради сохранения своей шкуры — «двойственность чувств» слабоватая терминология.

А все последующее, со стрельбой доктора по обгорелому дереву, когда он, не желая ни в кого целиться, в то же время, одного за другим, сваливает трех людей, которые,

по Вашему деликатному выражению, «пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда», — это уже отдает иезуитством, тем самым иезуитством, в котором сам доктор Живаго так часто и так облыжно готов обвинять кого угодно. Здесь Ваш доктор Живаго напоминает того ханжу-монаха, который соблюдает пост, перекрестив мясо в рыбу, с той разницей, что здесь речь идет не о мясе и рыбе, а о человеческой крови и человеческих жизнях.

Итак, на протяжении короткого отрезка времени Ваш герой проходит сложный путь многократного предательства: он сочувствует белым и доходит в своем сочувствии до желания перебежать к ним, не решившись сделать это, он начинает стрелять сначала вообще, а в конце концов по тем самым белым, которым он сочувствует. Потом он испытывает чувство жалости уже не к белым, а к красному телефонисту, которого убили эти белые. Вслед за этим он сочувствует убитому им молодому белогвардейцу, спрашивает себя: «Зачем я убил его?» А когда выясняется, что этот белый не убит, а лишь контужен, прячет его, выдает за партизана и, оставаясь сам у красных, отпускает его, зная от него самого, что тот вернется в ряды колчаковцев и будет драться с красными.

Так поступает Ваш доктор Живаго, вселяя к себе этим тройным, если не четырехкратным, предательством чувство прямого отвращения у всякого сколько-нибудь душевно здорового человека; отбросим здесь даже различие в политических взглядах — просто у субъективно честного человека, хоть раз в жизни оценившего свою совесть дороже своей шкуры!

А ведь между тем Вы всею силой своего таланта стремитесь эмоционально оправдать в этой сцене Живаго и, тем самым, в конечном итоге приходите к апологии предательства.

Что же приводит Вас к этой апологии? На наш взгляд, все тот же гипертрофированный до невероятных размеров индивидуализм. Личность Живаго для Вас есть высшая

ценность. Духовный мир доктора Живаго есть высшая ступень духовного совершенства, и, во имя того, чтобы сохранить это высшее духовное достижение и его жизнь как сосуд, заключающий эту ценность в себе, — во имя этого позволительно преступить все.

Однако в чем же, в конце концов, заключается содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, что такое его индивидуализм, защищаемый им страшной ценой?

Содержание его индивидуализма — это самовосхваление своей психической сущности, доведенное до отождествления ее с миссией некоего религиозного пророка.

Живаго — поэт, не только врач. И чтоб убедить читателя в реальном значении его поэзии для человечества, как он сам ее понимает, Вы заканчиваете роман сборником стихов своего героя. Вы жертвуете при этом лучшую долю личного своего поэтического таланта избранному Вами персонажу, чтобы возвеличить его в глазах читателя и, вместе с тем, как можно больше сблизить его с самим собой.

Чаша страданий доктора Живаго на земле испита, и вот его тетрадь — завещание будущему. Что мы в ней находим? Кроме уже опубликованных в печати стихов, здесь особый смысл для понимания философии романа приобретают стихи о крестном пути Христа на земле. Здесь слышится прямая переключка с духовным томлением героя, изображенным в прозаической части романа. Параллели становятся ясны до предела, ключ к ним дается физически ощутимо из рук автора в руки читателя.

В заключительном к роману стихотворении Живаго рассказывается евангельское «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Слова Христа к апостолам содержат фразу:

«Вас господь сподобил  
Жить в дни мои...»

Разве это не повторение уже сказанных доктором слов о своих «друзьях» — интеллигентах, поступавших не так,



как поступал он: «Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали»?

Весь путь Живаго последовательно уподобляется евангельским «Страстям Господним», и стихотворная тетрадь-завещание доктора заканчивается словами Христа:

«Ко мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты».

Этим завершается роман. Его герой, как бы повторяющий крестный путь на Голгофу, последним своим словом к читателю, как Христос, прорицает будущее признание сотворенного им на земле во имя ее очищения от греха.

Не в том ли состоял «крестный» путь Живаго, что поэт, вещающий свое «второе пришествие» и суд над человеком, в действительности презирал реального человека, возводя себя на недостижимый для смертного пьедестал? Не в том ли состояло призвание этого интеллигентского мессии, что ради спасения своего «духа» он убивал, предавал, ненавидел человека, мнимо сострадавая ему лишь затем, чтобы возвысить себя над ним до самообожествления?

В этом, собственно, и заключается все содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, его гипертрофированного индивидуализма. В сущности, доктор несколько не осуществляет своей претензии на мессианство, потому что искажает, но не повторяет пути обожествляемого им евангельского пророка: христианством на мрачной дороге доктора Живаго и не пахнет, потому что он меньше всего заботился о человечестве и больше всего о себе.

Так под покровом внешней утонченности и нравственности вырастает фигура человека, в сущности своей безнравственного, отказывающегося иметь какие-нибудь обязанности перед народом и претендующего только на права, в том числе и на якобы позволительное для сверхчеловека право ненаказуемого предательства.

Ваш доктор Живаго, благополучно пройдя через Сциллы и Харибды гражданской войны, умирает в конце двадца-

тых годов, растеряв близких его сердцу людей, вступив в какой-то странный брак и изрядно опустившись. Незадолго до смерти в разговоре с Дудоровым и Гордоном (по Вашей воле представляющих старую интеллигенцию, пошедшую сотрудничать с Советской властью) он в их лице награждает эту интеллигенцию предсмертным злобным плевком.

И как только Вы не аттестуете здесь злосчастных собеседников Вашего Живаго, как только Вы не казните их за то, что они не заняли позиций сверхчеловека, а пошли вместе с революционным народом через все его бедствия и испытания.

Им и «не хватает нужных выражений», они и «не владеют даром речи» и «в восполнение бедного словаря по несколько раз повторяют одно и то же». Им и свойственно «бедствие среднего вкуса, которое хуже бедствия безвкусицы», они и отличаются «неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором»; они и «обольщены стереотипностью собственных рассуждений»; они и «принимают за общечеловечность подражательность своих прописных чувств»; они и «ханжи», и «несвободные люди, идеализирующие свою неволю», и так далее, и тому подобное.

И, слушая их речи, Ваш доктор Живаго, который, как Вы пишете, «не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением, или, как тогда бы сказали, «духовным потолком эпохи», высокомерно думает о своих друзьях, пошедших служить Советской власти: «Да, друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших собственных имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали».

Мы Вам советуем внимательно перечитать эти слова, написанные Вами в Вашем романе. То, что они до смешного высокомерны, еще полбеда, но неужели Вы не чувствуете,

что, кроме высокомерия, в них есть еще и низость! Правда редко бывает спутницей озлобления, должно быть, поэтому ее так мало и на тех страницах, где Ваш доктор Живаго заканчивает свой жизненный путь, и на страницах следующего за этим эпилога, написанного, как нам кажется, очень ожесточенной и очень поспешной рукой, настолько поспешной от ожесточения, что эти страницы вообще трудно числить в пределах искусства.

Вам не чуждо стремление к символике, и смерть, вернее, умирание доктора Живаго в конце двадцатых годов, как нам кажется, для Вас является символом смерти русской интеллигенции, которую погубила революция. Да, надо согласиться, что для того доктора Живаго, которого Вы изобразили в романе, климат революции губителен. И спор с Вами не об этом, спор, как мы говорили уже вначале, — о другом.

В вашем представлении доктор Живаго — это вершина духа русской интеллигенции.

В нашем представлении — это ее болото.

В Вашем представлении та русская интеллигенция, пути которой разошлись с путями доктора Живаго и которая пошла служить народу, удалилась от своего истинного назначения, духовно самоистребилась, не сделала ничего ценного.

В нашем представлении она именно на этом пути нашла свое истинное назначение и продолжала служить народу и делать для народа именно то, что в дореволюционные годы, готовя революцию, делала для народа лучшая часть русской интеллигенции, и тогда, как и сейчас, бесконечно чуждая тому сознательному отрыву от интересов народа, идейному отщепенству, носителем которых является Ваш доктор Живаго.

Ко всему сказанному нам остается с горечью добавить несколько слов о том, как изображен в Вашем романе народ в годы революции. Это изображение, данное чаще всего через восприятие доктора Живаго, а иногда и в прямой

авторской речи, чрезвычайно характерно для антинародного духа Вашего романа и находится в глубоком противоречии со всей традицией русской литературы, никогда не заискивающей перед народом, но умевшей видеть и красоту его, и силу, и духовное богатство. Народ же, выведенный у Вас в романе, делится на добрых странничков, льнущих к доктору Живаго и его близким, и на полулюдей, полужверей, олицетворяющих стихию революции, вернее сказать, в Вашем представлении, мятежа, бунта.

Чтобы и здесь не быть голословными, всего несколько цитат в подтверждение сказанного. На этот раз без комментариев — так, подряд, — нагляднее.

«В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить».

«В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицеров, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков».

«Для почтенных гостей были расставлены стулья, их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивающий друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, — они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из

которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое».

«Это время оправдало старинное изречение: человек человеку — волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века».

Можно было бы выписать и немало других, похожих на это место, однако и приведенные достаточно характерны для того, чтобы представить себе, каким выглядит в Вашем романе народ, во всяком случае та часть его, которая приняла активное участие в революции. За это именно и сердятся на нее Ваши герои, а вместе с ними и Вы.

До сих пор мы почти не касались художественной стороны Вашего романа. Если говорить о ней, то следует заметить, что при общей сюжетной и композиционной разбросанности и даже раздробленности романа впечатления от тех или иных страниц его не собираются в общую картину и так и существуют разрозненно.

Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего там, где Вами поразительно точно и поэтично увидена и запечатлена русская природа.

Есть в нем и много откровенно слабых страниц, лишенных жизни, иссушенных дидактикой. Особенно много их во второй половине романа.

Однако нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела, как мы уже говорили в начале письма, — суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман, сугубо и прежде всего политический роман-проповедь. Вы построили его как произведение, вполне откровенно и целиком поставленное на службу определенным политическим целям. И это самое главное для Вас, естественно, стало предметом главного внимания и для нас.

Как это ни тяжело, нам пришлось назвать в своем пись-

ме к Вам все вещи своими именами. Нам кажется, что Ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, гражданской войны и послереволюционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого бы то ни было понимания интересов народа. Все это, вместе взятое, проистекает из Вашей позиции человека, который в своем романе стремится доказать, что Октябрьская социалистическая революция не только не имела положительного значения в истории нашего народа и человечества, но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и несчастья.

Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи.

Что же касается уже не самой Вашей идейной позиции, а того раздражения, с которым написан роман, то, памятуя, что в прошлом Вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным Вами ныне, мы хотим заметить Вам словами Вашей героини, обращенными к доктору Живаго: «А Вы изменились. Раньше Вы судили о революции не так резко, без раздражения».

Впрочем, главное, конечно, не в раздражении, потому что оно всего-навсего спутник опровергнутых временем несостоятельных, обреченных на гибель идей. Если Вы еще в состоянии над этим серьезно задуматься, — задумайтесь. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось бы этого.

Возвращаем вам рукопись романа «Доктор Живаго».

Б. Агапов,  
Б. Лавренев,  
К. Федин,  
К. Симонов,  
А. Кривицкий

Сентябрь 1956 г.

«Литературная газета», 25 октября 1958 г.;  
«Новый мир», 1958, № 11

Д. Заславский

### ШУМИХА РЕАКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ ВОКРУГ ЛИТЕРАТУРНОГО СОРНЯКА<sup>1</sup>

Началами социалистического коллективизма проникнута вся жизнь советского общества. <...>

Но есть еще, попадаются отдельные экземпляры вымершей породы буржуазных «индивидуалистов», мелких собственников и мещан, пронесших в своей душе сквозь сорок с лишним лет революции глубокую вражду к социалистическому коллективу. Носители этой отжившей свой век идеологии встречаются иногда даже среди литераторов. <...>

Такие люди, глубоко чуждые советскому обществу, таят в своей душе вражду к нему и чувствуют себя в нем «лишними».

Таким лишним человеком, одиночкой-индивидуалом оказался в советской литературе писатель Б. Пастернак. Некогда это был не лишенный таланта поэт. Но уже с первых шагов в литературе стал на бесплодный путь антиреализма. В его ранних стихах отразилось то десятилетие, которое А. М. Горький назвал «самым презренным» в истории русской интеллигенции. <...> Это было время, когда всякого рода декаденты, символисты, футуристы пыта-

---

<sup>1</sup> Печатается с сокращениями.

лись отравить русскую литературу ядом духовного разложения реакционной буржуазии.

Б. Пастернак принадлежал к их числу. <...>

Пастернак не хотел признать социалистическую революцию и Советский Союз, точно так же как долгое время не хотели признать наше государство враждебные нам реакционные правительства. Пастернак сердился на революцию. Русская ироническая пословица говорит об одной старухе, которая «три года серчала на господин Великий Новгород, а он и не замечал». Пастернак вот уже сорок один год «серчает» на советское общество, на советскую литературу, а великий советский народ этого не замечал. И от этого еще больше было раздражение Пастернака против всего советского. Ему казалось, что нет ничего на свете более важного и значительного, чем переживания интеллигента, выброшенного из жизни, вернее, выбросившегося из нее. Но этот мелкотравчатый снобизм, пародирующий старые пародии, никого не интересовал и не мог заинтересовать в советской жизни и литературе.

Совершенно ясно, что долговременное пребывание в темном уголке своего индивидуализма уничтожило в Пастернаке всякое сознание принадлежности к советскому народу, уничтожило в нем столь привычное для нас чувство достоинства советского гражданина и патриота. Он сам устроил для себя подобие эмигрантского существования. Он порвал живую связь с советским писательским коллективом.

В этом своем качестве он привлек к себе внимание реакционной буржуазной печати. Подозрительные корреспонденты иностранных газет стали, как мухи, липнуть к Пастернаку. О нем распространяли нелепые слухи, будто он своего рода «мученик», что его «преследуют», что ему якобы не дают возможности писать и т. п. <...>

Реакционная печать стала создавать другую легенду о Пастернаке: будто бы это великий непонятый, непризнанный писатель, который мог бы создать гениальные



произведения, если бы не противодействовала этому «тирания социалистического реализма». Это комическая легенда. Преувеличение в ней носит карикатурный характер.

Никто не отрицает литературного таланта Пастернака, но талант этот весьма ограниченный, и никогда, даже в золотое время свое, Пастернак не числился среди мастеров первого класса.

Всякий честный советский писатель отнесся бы с величайшим презрением к комплиментам врагов нашей Родины. Он без труда распознал бы в этой нарочитой и дешевой рекламе политический акцент. Не как писателя Пастернака, а как озлобленного обывателя Пастернака ласкали и приветствовали хулители социализма и демократии. Но Пастернаку, напротив, льстила эта похвала реакционной буржуазии. Ему казалось, что он, не признанный пророк в своем отечестве, может стать пророком чужого, буржуазного отечества. Злоба, переполнившая душу лишнего человека, искала выхода — и нашла его. Пастернак написал большой роман под заглавием «Доктор Живаго». Это злобный пасквиль на социалистическую революцию, на советский народ, на советскую интеллигенцию. Озлобленный обыватель дал волю своему мстительному раздражению. Он старался очернить все то новое, что принесла революция; оправдать и возвысить все старое, контрреволюционное, вплоть до иконописного изображения белогвардейщины. Герой романа — это русский буржуазный интеллигент, мещанин с мелкими чувствами и дрянными помыслами. Великая революция выбила его из колеи, лишила домашнего уюта. Он недополучил каких-то пайков и не мог простить этого советскому народу. Буржуазный строй классового гнета остался для него святыней, а в рабочем классе он видел только чернь в зверском обличье. Отродью контрреволюционной буржуазии Пастернак дарит свои авторские симпатии.

Среди сатирических героев Щедрина есть персонаж столь малого роста, что он ничего не мог вместить в себе

пространного. По мелкоте своего художественного восприятия и Пастернак не мог вместить в себе идею социалистической революции. <...>

Смешно сказать, а ведь этого своего доктора Живаго, морального урода, отупевшего от злобы, Пастернак выдает за «лучшего» представителя старой русской интеллигенции. Это поклеп на передовую интеллигенцию, столь же нелепый, как и бездарный. <...> Пастернак злобно клеветает на Советскую власть, на наш героический народ, рисуя на радость врагам Советского Союза вымышленную картину гибели русской интеллигенции. Только человек, совершенно чуждый нашей жизни, заживо сохранившийся осколок дореволюционного прошлого, мог так злобно оклеветать советскую интеллигенцию!

Роман Пастернака — это политический пасквиль, а пасквиль — это не художественная литература. Можно, обмакнув квач в деготь, густо вымазать забор, но это не искусство, деготь — не краска и квач — не кисть художника. Роман Пастернака — это реакционная публицистика низкого пошиба, облеченная в форму литературного произведения. Повести, романы и рассказы такого рода, ничего общего не имеющие с художественной литературой, печатались в белоэмигрантской беллетристике двадцать и тридцать лет назад. Белоэмигрантизм выродился, ее литература полностью выдохлась и исчезла, а живущий в Советском Союзе Б. Пастернак, этот «внутренний эмигрант», повторяет ее зады. Он всегда кокетничал своей лирической «утонченностью», а тут проявил примитивную вульгарность.

Пастернаку почему-то казалось, что наступил его час, что пришло время, когда он может отомстить советскому обществу за то, что он оказался в нем выходцем с того света, сорной травой на советской ниве. По-видимому, он поддался тому гнилому поветрию, которое на самое короткое время пронеслось по некоторым затхлым углам советской литературы и оживило надежды засевавших в

ее щелях мещан. Но Пастернак ошибся. Редакция журнала «Новый мир» осенью 1956 года решительно отвергла его роман как явно антисоветский и антихудожественный и в своем письме Б. Пастернаку дала развернутую характеристику этого пасквильного сочинения. Это было предостережением для Пастернака. Он не внял ему и передал рукопись своего романа за границу, где она выпущена в свет людьми, ставшими на путь открытой борьбы против социализма, использовавшими при этом недобросовестные методы.

Роман был сенсационной находкой для буржуазной реакционной печати. Его подняли на щит самые отъявленные враги Советского Союза, мракобесы разного толка, поджигатели новой мировой войны, провокаторы. Из явления как будто бы литературного они пытаются устроить политический скандал с явной целью обострить международные отношения, подлить масла в огонь «холодной войны», посеять вражду к Советскому Союзу, очернить советскую общественность. Захлебываясь от восторга, антисоветская печать провозгласила роман «лучшим» произведением текущего года, а услужливые холопы крупной буржуазии увенчали Пастернака Нобелевской премией.

Чем же так пленил врагов Советского Союза и социализма этот роман? Не литературными ли своими достоинствами?

Нет, таких достоинств роман Пастернака не имеет, и эта сторона всего меньше интересовала и интересует хозяев старого мира. Истинные мотивы раскрыты в таком, к примеру, высказывании французского телеграфного агентства Франс Пресс: «Роман открыл миру постоянство русской души, ее радикальное сопротивление марксизму и привязанность к христианским ценностям...» Реакционная печать так оценивает «литературные» заслуги Пастернака: «Его эстетические вкусы, его философский спиритуализм увеличивались по мере того, как вокруг распространялся материализм...»

Буржуазная реакция сразу уловила те тенденции, которыми проникнут роман Пастернака. Эти тенденции были правильно вскрыты и резко осуждены редакцией «Нового мира», которая, мотивируя свой отказ напечатать антимарксистский, антисоветский, антикоммунистический пасквиль, указывала автору: «Дух вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально».

Таким образом, Нобелевской премией реакционная буржуазия наградила не Пастернака-поэта, не Пастернака-писателя, а Пастернака-пасквилянта, очернившего социалистическую революцию и советский народ.

Те, кто поднял теперь непристойную шумиху, в подавляющем большинстве своем никогда не знали и не читали Пастернака, не слышали его имени, не проявляли никакого интереса к его устарелой лирике. Они закричали о нем только в связи с его политическим пасквилом. Некоторые сознают, что роман крайне слаб в художественном отношении, если не сказать прямо: бездарен. Они пытаются скрыть это, распространяясь о Пастернаке как лирике. Эта фальшь содержится и в постановлении о присуждении Нобелевской премии. Авторы этого постановления не решаются прямо и открыто заявить, что награждают Пастернака жирным поцелуем именно за реакционность его романа. Этого, однако, не спрячешь. Правая финская газета «Ууси Суоми» откровенно признает, что Пастернак — «неизвестный до сих пор писатель» — получил Нобелевскую премию не за художественные достоинства своих произведений, а за политическую тенденцию.

Это вполне совпадает с линией тех, кто присуждает Нобелевские премии по литературе. Здесь награждали отъявленных реакционеров в литературе, воинствующих мра-

кобесов, врагов демократии, проповедников войны. Пастернак сопричислен к этой архиреакционной братии.

В этих условиях награда из рук врагов Советской Родины выглядит как оскорбление для всякого честного, прогрессивного литератора, хотя бы он и не был коммунистом, даже не был советским гражданином, а был поборником чести и справедливости, поборником гуманизма и мира. Тем тяжелее должно быть это оскорбление для писателя, который числится в рядах советской литературы и пользуется всеми теми благами, которые советский народ щедро предоставляет в распоряжение писателей, ожидая от них чистых, идейных, благородных произведений.

⟨...⟩ Всей своей деятельностью Пастернак подтверждает, что в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строительства светлого коммунистического общества, он — сорняк.

*«Правда», 26 октября 1958 г.*

**О ДЕЙСТВИЯХ  
ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА, НЕ СОВМЕСТИМЫХ  
СО ЗВАНИЕМ СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ**  
Постановление президиума правления  
Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета  
Союза писателей РСФСР,  
президиума правления Московского  
отделения Союза писателей РСФСР

Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР на совместном заседании обсудили действия Б. Пастернака и пришли к единодушному выводу, что эти действия не совместимы со званием советского писателя, направлены против традиций русской литературы, против народа, против мира и социализма. Начав когда-то с декларацией о «чистом искусстве», Б. Пастернак кончил тем, что стал орудием буржуазной пропаганды, выгодным объектом спекуляции для тех кругов, которые организуют холодную войну, стараются оболгать все прогрессивные и революционные движения. Реакционные круги встретили морально-политическое падение Б. Пастернака с одобрением совсем не потому, что ценят в нем какой-то писательский талант, а потому, что он присоединился к их ожесточенной, но безнадежной борьбе против поступательного движения истории.

Литературная деятельность Б. Пастернака давно искала в эгоцентрическом затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор Живаго», вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли, является воплем перепуганного обывателя, обиженного и уstraшенного тем, что история не пошла по кривым путям, которые он хотел бы ей предписать. Идея романа фальшива и ничтожна, вытащена с декадентской свалки. В самом деле, Б. Пастернак силится доказать, что Октябрьская революция была незакономерна и не нужна, в то время когда Советский Союз празднует свою сорок первую годовщину, как могучая и просвещенная держава, стоящая в первых рядах мировой культуры и науки. Победа социализма уже исторически утверждена на огромных территориях Европы и Азии. Прогрессивной мысли и преобразующему деянию Б. Пастернак пытается противопоставить цинично индивидуалистическую философию героя романа «Доктор Живаго». Исчерпывающая оценка романа «Доктор Живаго» дана в письме писателей — членов редколлегии журнала «Новый мир» в сентябре 1956 года.

Союз советских писателей, бережно относясь к творчеству писателей, на протяжении ряда лет стремился помочь Б. Пастернаку понять свои заблуждения, избежать морального падения. Но Б. Пастернак порвал последние связи со своей страной и ее народом, превратил свое имя и свою деятельность в политическое оружие в руках реакции. Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии по существу за роман «Доктор Живаго», наспех прикрытое высокопарными фразами о его лирике и прозе, в действительности подчеркивает политическую сторону нечистоплотной игры реакционных кругов. Симптоматично и показательны, что одни и те же силы организуют походы против национально-освободительных движений, военный шантаж против арабских народов, устраивают провокации против на-

родного Китая и поднимают шум вокруг имени Б. Пастернака. Присуждение Нобелевской премии Б. Пастернаку сопровождается усилением антисоветской кампании, что уже само по себе свидетельствует о пропагандистском, а не литературном характере этого награждения.

Факты состоят в том, что, к сожалению, не в первый раз литературные Нобелевские премии присуждаются тем, кто служит человеконенавистническим силам холодной войны, организующим крестовые походы против социального прогресса и гуманизма. Литературный Нобелевский комитет не заметил всемирно известных художественных ценностей, созданных Львом Толстым, Чеховым, Горьким, Маяковским, Шолоховым, но зато в поле его внимания попал Бунин только тогда, когда он стал активным политическим эмигрантом, а теперь — отщепенец Б. Пастернак. И вполне понятно, почему премия Б. Пастернаку оценена в буржуазной прессе как «Нобелевская премия — против коммунизма». Честные люди и в самой Швеции, и в других странах открыто высказывают мнение, что Нобелевская премия присуждена Б. Пастернаку исключительно по политическим мотивам.

Поэтому, учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны, — президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР.

*(Принято единогласно.)*

*«Литературная газета», 28 октября 1958 г.*



**ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
1958 года**

**19 февраля 1987 года секретариат Правления Союза писателей СССР отменил постановление Президиума Правления СП СССР 1958 года об исключении Б. Л. Пастернака из членов СП СССР.**

*«Литературная газета»,  
25 февраля 1987 г.*

**СТЕНОГРАММА ОБЩЕМОСКОВСКОГО  
СОБРАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ  
31 октября 1958 года<sup>1</sup>**

**Председательствует С. С. Смирнов**

**С. С. Смирнов:**

Товарищи, общее собрание писателей Москвы, посвященное обсуждению решения объединенного заседания Президиума Правления СП СССР, Бюро Оргкомитета СП РСФСР и Президиума МО СП РСФСР о поведении Б. Пастернака, объявляю открытым.

Если не будет возражений, есть предложение, чтобы Президиум сегодняшнего собрания избрать в составе членов Президиума Правления МО, членов Бюро Оргкомитета и членов Секретариата СП СССР. Нет возражений против этого? (П р и н и м а е т с я.) Тогда прошу членов Президиума занять места.

В нескольких словах хочу коснуться истории вопроса. Дело в том, что группа московских писателей, возмущен-

---

<sup>1</sup> Печатается по машинописной копии, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 2464, оп. 1, ед. хр. 146), без сокращений (пропуски в стенограмме обозначены многоточием, взятым в квадратные скобки), исправлений (не исключая и неверно цитируемых ораторами произведений и высказываний Б. Л. Пастернака) и комментариев, которые в данном случае излишни.

ная поведением Б. Пастернака, составила письмо, которое предполагалось опубликовать в газете и которое подписало большое число московских писателей. Я оглашу фамилии, которые стоят под этим письмом. (О г л а ш а е т с п и с о к.)

Как видите, здесь не только московские писатели, но и те, которые в этот период находились в Москве. Это письмо должно быть опубликовано в печати, но возникла мысль: почему письмо подписано только группой московских литераторов, разве Московская организация в целом не хочет выразить свое мнение по поводу того, что произошло в нашей среде? И было решено созвать это совещание, чтобы прозвучал голос всего коллектива московских писателей.

Нам, Московской организации, нельзя пройти спокойно мимо этого тяжелого факта предательства, которое произошло в нашей среде.

Теперь несколько слов по существу дела.

Мы все знаем Б. Пастернака — некоторые лично, некоторые понаслышке. И я был бы неправ, если бы сказал, что Б. Пастернак — это тот поэт, которого знал и знает наш советский народ. Нет поэта более далекого от народа, чем Б. Пастернак, поэта более эстетствующего, в творчестве которого так звучало бы сохранившееся в первозданной чистоте дореволюционное декадентство. Все поэтическое творчество Б. Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на все события в жизни своего народа.

Узкий круг читателей был уделом поэта и узкий круг друзей и почитателей, окружавший его в нашей литературе. И этот узкий круг друзей — почитателей Пастернака — постепенно создавал ему какой-то ореол, и приобрела весьма широкое хождение в нашей среде легенда о Пастернаке.

Легенда о поэте, который является совершенно аполитичным, таким ребенком, в политике ничего не понимающим, запершимся в своем замке «чистого искусства» и создающим там свои талантливые произведения. Гово-

рили, что это человек глубоко аполитичный, но вполне лояльный с Советской властью, даже пытавшийся что-то отразить в своем творчестве из борьбы своего народа, хотя эти попытки — это ничтожная часть его творчества. Наконец, они говорили, что это глубоко порядочный человек, это старый интеллигент с его особой, исключительной порядочностью.

Это была среда, узкий круг, окружавший Пастернака с оханиями и аханиями по поводу его таланта и величия в литературе. Нечего греха таить, что были такие люди из друзей Пастернака, которые заявляли на заседаниях, что, когда произносят имя Пастернака — надо вставать.

И вот эта легенда получила распространение не только в кругу друзей Пастернака. Эта легенда сейчас разоблачена и похоронена произведением и поведением Пастернака. Я имею в виду историю с романом «Доктор Живаго». Этот роман, над которым много лет работал Пастернак и который, как он сам заявляет, является главным трудом его жизни, был им написан и сдан в редакцию «Нового мира». Как мне известно, товарищи, ознакомившись с этой рукописью, были поражены. Они, наверно, были поражены тем, что — аполитичный, ребенок в политике — Пастернак создал произведение остро политическое, все насквозь пронизанное политическим мотивом. Они не были удивлены художественной стороной этого произведения — это была весьма средняя проза, это произведение отнюдь не было каким-то значительным с точки зрения художественной, но вся идея, вся система философии этой вещи глубоко поразила товарищей из «Нового мира», которые считали Пастернака своим товарищем, советским писателем, советским гражданином. Философия, вся система поведения людей не имела ничего общего с нашим советским образом мышления.

Я не буду пересказывать письма редколлегии «Нового мира», которое было опубликовано в «Литературной газете» и которое в очень (я бы даже сказал) смягченной,

исключительно вежливой и даже бережной форме говорило о недостатках всего замысла, всей философии романа.

Мне хочется только кое-что добавить от себя. Я прочитал роман «Доктор Живаго» от первой до последней страницы, и мне хочется поделиться эмоционально своим собственным восприятием этого романа.

Читателю вообще не трудно обнаружить, кто является любимым героем автора, через каких героев писатель высказывает свои сокровенные, главные мысли, но особенно трудно обмануть нас — читателей искушенных. И мы сразу видим — где люди, служащие рупором автора. Я смело могу утверждать, что именно в образе доктора Живаго Пастернак сконцентрировал свою собственную философию. Я осмелюсь утверждать, что между доктором Живаго и Пастернаком можно поставить знак равенства. Об этом говорит вся философия Живаго, как она подносится, и говорит образ жизни существования Пастернака в нашей стране и в нашей литературе.

Какова же философия этого романа, как я воспринял этот роман?

Здесь сидят многие из вас, кто пережил, кто участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, в гражданской войне, в последующем строительстве, которое развернулось у нас. Здесь сидят люди моего поколения, мои товарищи по Отечественной войне, солдаты Отечественной войны. Все мы — участники 40-летней истории нашего государства, истории величественной, которой мы по праву гордимся, истории, рамки которой когда-то в 1917 г. были ограничены; можно сказать, ячейка нашего будущего общества была тогда ограничена стенами Смольного. Но мы увидели, как за 40 лет эти рамки, эти стены раздвинулись на восток и на запад. И мы знаем, что вся эта история была бы невозможна без Великой Октябрьской революции. И вы поймете чувство оскорбления, чувство настоящего гнева, с каким мне пришлось закрыть эту книгу на последней странице!

Эта книга, где любимые герои автора называют революцию и гражданскую войну, все великие события, которые происходят в их время, мировыми дрязгами, которые марксизм, идеями которого мы живем, они пытаются опровергнуть как науку, когда основной принцип нашей жизни — коллективизм — назван презрительным словом «стадность». По мнению автора, эта стадность делает человека ординарным, принижает его. Мы не раз слышали эту философию от наших врагов, и это словечко «стадность» нам повторяют самые ненавистные наши враги.

Роман, где вся система образов подобрана так, что все мало-мальски светлое, освещенное интеллектом гибнет, задавленное, растоптанное силами революции, и остаются только люди тупые, низкие, алчные, жестокие. Вся система образов этого романа подобрана именно так. Роман, где вся борьба народа в годы революции и гражданской войны за светлые идеи Октябрьской революции представлена только как цепь жестокостей, казней, интриг вождей. Цепь несправедливостей — вот как все это изображено. Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек, потому что ни одного светлого образа из среды русского народа не преподнес Пастернак в своем романе. Все эти образы страшные, жестокие, и у читателя остается чувство оскорбления национального достоинства.

Я был оскорблен и как интеллигент, и как человек, потому что вся философия этого романа, прикрытая маской христолюбия и гуманизма, насквозь антигуманистична. Все в жизни людей, их исторические судьбы — все это, по мнению доктора Живаго, который, повторяю, я глубоко убежден, в очень большой степени, если не целиком, исповедует идеи Пастернака, — все это ничто перед интеллектом талантливого одиночки. Только этот интеллект создает ценности, только он смотрит сверху на всю эту борьбу, не участвуя в ней, уходя от нее. Только он судит с высоты своего интеллекта все, что происходит.

Вы, очевидно, помните — это было приведено в «Литературной газете», — когда доктор Живаго говорит о своих друзьях, что все вы имеете ценность только потому, что вы жили в одно время со мной, только потому, что вы меня знали.

Я, наконец, был оскорблен этим романом, как Солдат Отечественной войны, как человек, которому приходилось на войне плакать над могилами погибших товарищей, как человек, которому приходится сейчас писать о героях войны, о героях Брестской крепости, о других замечательных героях войны, которые раскрыли героизм нашего народа с удивительной силой.

Я был оскорблен потому, что и главные и любые герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства. Черным по белому проходит в романе мысль о том, что предательство вполне естественно, что талантливый интеллигент-одиночка может перейти в любой лагерь.

Вероятно, всех нас, бывших на войне, прошедших весь наш путь, оскорбила сцена, когда доктор Живаго находится у партизан и когда он волей обстоятельств начинает стрелять в приближающихся белых, которым он сочувствует. Это страшная сцена, сцена оскорбляющая.

Но этой сценой не ограничивается в романе эта философия предательства. Например, одна из главных героинь этого романа прямо говорит, что когда приходили белые, то о ней заботился командующий белыми войсками, и она заявляет, что быть в одном лагере с красными могут только обычные люди, только обычные люди могут быть по одну сторону баррикад, исповедовать что-то определенное.

Таким образом, товарищи, роман «Доктор Живаго», по моему глубокому убеждению, является апологией предательства.

Я помню, когда мы говорили об этом на Президиуме, у одного товарища прозвучало сравнение доктора Живаго

с Климом Самгиным. Кошунственным звучит само сравнение с Горьким. Но уж если говорить об этом, то надо сказать, что Горький разоблачает Клина Самгина, разоблачает предательство, а здесь предатель возведен в сан героя и предательство воспевается как человеческая доблесть.

Естественно, что так же, как роман является актом предательства всех наших людей, всего светлого, под знаменем чего Пастернак прожил 40 лет в нашей стране, так естественно, что и все последующее поведение Пастернака было цепью предательств.

Товарищи из редакции «Нового мира», встревоженные романом, смущенные, непонимающие, желающие считать, что Пастернак был введен самим собой в чудовищное заблуждение, что это какое-то наваждение, говорили прямо о той пропасти, которую открывает этот роман. Они, наконец, передали ему письмо, которое вы читали в «Литературной газете». И вот, товарищи, вместо того, чтобы прислушаться к этим настойчивым, серьезным, дружелюбным и даже излишне бережным, как я убедился в этом после того, как прочитал роман, предупреждениям, вместо того, чтобы сделать это, Борис Пастернак продает свою рукопись за рубеж. Уже этот поступок ставит, по существу, Бориса Пастернака вне наших рядов, вне рядов советских писателей. Он передал эту рукопись итальянскому издателю Фельтринелли, который является ренегатом, перебежчиком из лагеря прогресса в лагерь врага, а вы знаете, что нет врага хуже ренегата и что ренегат особенно сильно ненавидит то, чему он изменил.

Вы можете критиковать нас, руководство Московского отделения, вы можете высказать нам свою претензию, почему сразу после того, как Пастернак отправил эту рукопись за рубеж, совершил антипатриотический поступок, недостойный чести и совести советского писателя, — почему Пастернак не был исключен из наших рядов. Вы будете правы, поскольку наши надежды на порядочность, на честь и совесть советского писателя, которые должны



были быть у Пастернака, — эти надежды наши оказались исчерпанными. Но вместе с тем мы не можем не говорить о том, что это показатель, может быть, излишней бережности к товарищу, который ошибается. Мы тоже до некоторой степени разделяли легенду о порядочности Пастернака, и мы считали, что он одумается, что он увидит наконец все, что он написал, в том свете, как это предстает перед читателем, что он ужаснется этому и сделает из этого вывод — заберет свою рукопись, спрячет этот роман. До последнего момента мы думали, что Пастернак одумается. Ему дали слишком много времени и возможность — для того, чтобы одуматься.

Но все это время Б. Пастернак вел нечестную игру, которая затеяна врагами. Он ждал выхода романа за рубежом. И наконец роман вышел за рубежом. Вы знаете, какая это была находка для зарубежной реакции, для наших врагов. Вокруг этого романа началась бешеная свистопляска. Пастернака начали объявлять самым талантливым писателем и поэтом, а до этого времени его стихи, по существу, не знали. Но даже буржуазная критика сейчас уже начала говорить о художественной слабости романа, которую невозможно было не видеть. И буржуазная критика прямо писала, что этот роман не является явлением русской прозы, что в нем очень много художественных слабостей, и говорила прямо, что весь шум, поднятый вокруг этого романа, — этот шум имеет политическую основу, потому что наши враги для себя в это время делали соответствующие выводы. Первое время не было еще речи о Нобелевской премии, пока не последовало давления из-за океана, только после этого вопрос о Нобелевской премии Пастернаку встал на очередь.

И Пастернак в силу своих личных особенностей оказался абсолютно неспособным понять положение, в котором он оказался. Но среди нас была легенда о поэте Пастернаке, потому и терпели и думали, что в последний момент найдутся у Пастернака остатки чести и совести писателя и

советского гражданина, которые заставят его действовать правильно. Я хочу несколько слов сказать о мужестве [...], которые проявил во всем этом деле глава нашей писательской организации, председатель ее К. А. Федин, он, которого все сидящие в зале глубоко уважают, сделал все для того, чтобы спасти Пастернака, для того, чтобы разъяснить ему всю опасность его положения.

К. А. Федин при присуждении премии Пастернаку пошел к нему, и в дружеском разговоре и во имя дружеских прежних отношений он сказал, что — пойми, идет речь не о литературе, тут чистая политика. Ты оказался пешкой в игре политических интриганов и что ты стоишь перед последним рубежом, переступив который ты порвешь связи с русской литературой и русским народом.

Это была долгая беседа, в которой Пастернак начал спорить, но в конце концов он сказал, что подумает и посоветуется. И если он что-нибудь надумает, то придет к нему. Он не пришел к Федину. Премия ему была присуждена, и вслед за тем в адрес Нобелевского комитета, как мы знаем из иностранных источников, была послана Пастернаком следующая телеграмма (в адрес Шведской Академии): «Бесконечно признателен. Тронут. Удивлен. Скопфужен. Пастернак». (Шум в зале, движение. Возглас: Позор!)

Одновременно Пастернак принял западных корреспондентов и сказал, что счастлив и что хотел бы поехать в Стокгольм получить премию.

После этого этот человек, который был всегда внутренним эмигрантом, окончательно разоблачил себя как врага своего народа и литературы. Этот акт поставил окончательно точку политического и морального падения Пастернака. Этот акт завершил круто его предательские действия.

Нельзя не упомянуть, что, в отличие от других, Нобелевские премии по литературе все чаще идут из политических соображений, ничего не имеющих общего с литературой.

Я вам напомню, что они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом, и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа.

Премия по литературе была присуждена такому врагу советского народа, как В. Черчилль. Премия Нобеля была присуждена фашиствующему французскому писателю Камю, который во Франции очень малоизвестен, а морально представляет личность, рядом с которой никогда не сядет ни один порядочный писатель. Это Камю прислал дружескую телеграмму Б. Пастернаку. Конечно, этот факт окончательно расценен в глазах народа и показал, что все наши надежды на то, что у Пастернака осталось хоть сколько-нибудь чести и совести, оказались тщетными.

Естественно, вся советская литературная общественность реагировала на действия Пастернака, а он униЗИтельно принял премию, данную ему как политическому врагу нашего государства. Были опубликованы материалы, поступили многочисленные письма, и идут они от возмущенной советской общественности действиями Пастернака.

В субботу приходили к нам в Союз писателей студенты и приклеили к воротам здания плакаты. На объединенном Президиуме Правления Союза писателей, Оргкомитета и Московского отделения были обсуждены поступки Пастернака. Писатели из разных городов и республик с большим единодушием выражали свое гневное отношение к поведению Пастернака.

На этом объединенном заседании Пастернака не было. Пастернака приглашали на это заседание, послали повестку, но он не пришел и вместо этого прислал в адрес собрания письмо, которое я оглашу. (З а ч и т ы в а е т п и с ь м о. В з а л е ш у м.)

Но, товарищи, я думаю, всем вам ясно, что это письмо показывает, что Борис Пастернак ничего не понял и ничему не научился. Мне хочется, просто потому, что товарищи на-

спех слушали это письмо, прокомментировать некоторые места этого письма.

Может быть, оставим на совести Пастернака, что ему стало плохо и поэтому он не смог приехать, хотя прием иностранных корреспондентов оказался вполне допустимым и полезным для его здоровья!

Он считает, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные «Доктору Живаго»! Он хочет применить этот чисто территориальный признак, но я думаю, товарищи, совершенно ясно, что советского писателя мы не определяем только по территориальному признаку. Вы понимаете, что порой под советского человека маскируются враги, засылаемые к нам из других государств!

Он пишет, что: «Я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала и чтобы была соблюдена справедливость». Я невольно подумал о том, как он пишет о стадности, и, конечно, он считает нас с вами стадом, неспособным подняться до высоты его интеллекта.

Что же касается того, что он ждал (я не вникаю в сущность событий) — ждал цензурованного издания, чтобы оно послужило основой для иностранного перевода. Но, товарищи, это просто фокус! Он, конечно, понимал, что ренегат Фельтринелли никогда это издание не выпустит и напечатает с особым удовлетворением эти антисоветские места, и только это даст возможность за рубежом говорить, что вот — Пастернака заставили эти места срезать! Это, конечно, была провокационная идея. И когда он, «делая голубые глаза», говорил, что почему нельзя было выпустить некоторые неприемлемые места и три года тому назад этот роман напечатать, то, товарищи, вы понимаете хорошо, что это сделать было невозможно, это потребовало бы очень большой работы и большого времени, потому что вся система романа была такая. Я оставляю на его совести вопрос о самомнении. Его телеграмма подтверждает только старую русскую поговорку, что «уничуждение паче гордости».

Мне хочется остановиться на п. 7 его письма, где он

говорит по поводу того, что Нобелевскую премию он может перевести в Комитет Защиты Мира. Но, товарищи, я думаю, что каждый почувствовал этот страшный торгашеский тон. Он пытается откупиться от грозящих ему неприятностей суммой денег. Он не понимает, что только предатель может мерить цену предательства в золоте, а для порядочных людей цена предательства измеряется только моральной категорией.

Этот человек, который отказывался подписать Стокгольмское воззвание (спросите у Андроникова, сколько часов он потратил, чтобы убедить Пастернака подписать воззвание), этот человек предлагает сейчас передать в Комитет Защиты Мира деньги, полученные ценой предательства. Это — цинизм, это — оскорбление!

Он пытается здесь намекнуть, что мы уже реабилитировали некоторых, реабилитируете и меня! Я думаю, что по этому поводу нечего говорить, что это недостойное совершенно сопоставление и не может быть и мыслимо ни у кого такого сопоставления, которое делает Пастернак! Одним словом, это письмо, товарищи, еще раз показало нам, что из себя представляет Пастернак, окончательно помогло всем нам выяснить его лицо.

Решение Президиума объединенного заседания было единодушным, и, как вы знаете, Пастернак был лишен звания советского литератора и исключен из Союза писателей. Зная мнение многих моих товарищей по Московскому отделению, слыша многие возмущенные разговоры людей, которых до глубины души возмутил этот поступок Пастернака, я не сомневаюсь, что и сегодня наше мнение о поведении Пастернака, вероятно, будет единодушным. Но мне кажется, что наряду с осуждением этого поведения, этого позорного поступка, мы должны говорить и о чем-то другом. Мне кажется, что этот тяжелый урок многому нас учит. Во-первых, он разбивает вдребезги какие-либо разговоры о возможности аполитичной литературы. Когда решаются судьбы народов мира и происходят огромные поли-

тические события, когда подытоживается жизнь человечества и решается вопрос, по какому пути идти, в наше время не может быть литературы, отгороженной от политики, никаких разговоров о чистом искусстве не может быть.

Есть только две стороны у баррикады, как правильно сказал на нашем заседании П. Нилин,— никакой третьей стороны быть не может. И всякая попытка сесть между двух стульев неизбежно приводит к тому, что можно сесть на стул врага и часто частичка «а» в слове «аполитичный» переходит в частичку «анти». Об этом стоит подумать кое-кому из друзей Пастернака, защитников в той или иной степени позиции чистого искусства.

И во-вторых, мы должны прямо в лицо себе сказать, что мы допускали сами, чтобы вокруг Пастернака курили фимиам, делали из него божка, допускали положение, что при имени Пастернака надо вставать. И вот к чему это привело! Мы должны уяснить себе весь вред такого рода восхвалений, совершенно безудержных. Эти люди, которые курили фимиам вокруг Пастернака, все больше кружили ему голову.

(С места: Кто курил фимиам? Зачем скрывать здесь имена?)

Мы говорим об этом не для расправы, не для того, чтобы наказывать этих людей. Здесь большие принципиальные выводы надо сделать, и здесь должен произойти какой-то очистительный разговор, и тем, кто курил этот фимиам, надо собрать свое мужество и совесть, чтобы выйти на эту трибуну и сказать, что: я был из тех, кто кружил голову Пастернаку и подсаживал его на пьедестал. Вероятно, найдутся такие люди! (С места: Так и получается, что все время гладим по голове...) Я уже сказал, что все это послужит тяжелым уроком для нас, и сегодня нам надо провести очистительный разговор по этому поводу.

Об этом надо говорить еще и потому, что этот урок дол-

жен сплотить нас. Эта подлость в наших рядах должна показать нам, как ничтожна мелкая групповая борьба, которая имеет место еще у нас, борьба мелких честолюбий, литературного тщеславия, которая во многом портит нашу литературную атмосферу перед лицом больших задач, которые стоят перед литературой. Об этом мы также должны говорить сегодня.

Меня не очень сильно волнует во всем этом деле судьба самого Пастернака. Я, когда закрыл эту книгу, как-то невольно согласился со словами т. Семичастного, сказанными им на Пленуме ЦК комсомола. Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнения со свинством, но, по существу, это действительно так. Ведь 40 лет среди нас жил и кормился человек, который являлся нашим замаскированным врагом, носившим в себе ненависть и злобу. Так же, как доктор Живаго, он боялся открыто перебежать на сторону врага.

Мне особенно понравилась та вторая часть выступления т. Семичастного в его выступлении на Пленуме, когда он говорил о том, что надо превратить Пастернака из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного. Мне также кажется, что пусть он и фактически будет находиться в антисоветском лагере, пусть продолжает получать премии. Достаточно у нас было перебежчиков, достаточно пустолаек, лающих на нас. Но, как говорит одна восточная пословица: «Собака лает, а караван будет идти»...

Я вспоминаю, как норвежский народ казнил писателя Кнута Гамсуна, который перешел на сторону немцев в годы немецкой оккупации, когда в отгороженный забором его дом летели его сочинения! Народ показывал ему, что не жалеет держать в руках его книги.

Мне кажется, что достоин такой гражданской казни и Б. Пастернак, и кажется, что нам следует обратиться к правительству с просьбой лишить Пастернака советского гражданства! (А п л о д и с м е н т ы.) И открыть ему дорогу в тот лагерь, в который он давно перебежал! Хочу

остановиться еще на одном слухе, циркулирующем в последнее время и здесь, в литературной среде, и в зарубежной печати. Усиленно муссируются слухи, что якобы Б. Пастернак отказался от Нобелевской премии. Должен сказать, что ни в одной советской инстанции такого заявления нет, и мы ничего об этом официально не знаем. Должен сказать, что в иностранной печати нигде не появилась, а только комментируется телеграмма, якобы присланная в адрес Шведской Академии Пастернаком. Комментаторы пишут, что телеграмма эта такого содержания: «В связи с реакцией советского общества я вынужден отказать от оказанной мне чести...»

Судите сами! Это еще более подлая провокация, которая продолжает ту же самую линию предательства. Думаю, что комментарии здесь излишни, — вы сами понимаете, что каждый акт в этом направлении является новым предательством со стороны Пастернака, новой подлостью.

Вот то, что я хотел сообщить в своем докладе. Разрешите перейти к обсуждению вопроса и первое слово предоставить Л. Ошанину.

#### **Л. Ошанин:**

Товарищи! Нам нужно трезво и спокойно понять то, что произошло. В той общей, очень острой холодной войне, которая ведется сейчас против нас, — это долго подготавливавшийся и очень тонко рассчитанный удар. Пастернак был все время под наблюдением наших соседей, Пастернак был все время окружен огромным количеством иностранцев, и то, что думал и делал Пастернак, было очень хорошо известно за рубежом. Могли ли мы, когда узнали об этом, сказать, что это единственное, случайное, нехарактерное для всего его пути, что он другой? Каждый из нас, вероятно, имеет свои впечатления, каждый из нас имел свои встречи с Пастернаком. Я хочу рассказать только один маленький штрих, который меня совершенно потряс.

Это было в 1945 году, когда в первый раз в Союзе писателей вручались медали «За доблестный труд в Отечествен-



ной войне». Вы все помните обстановку в стране, обстановку необычайного единства, вы помните то ощущение праздника, когда наконец прозвучал салют Победы.

Тогда, встретив в клубе Пастернака, я ему говорю: «Б. Л., завтра будут вручать медаль, и в списке я видел вашу фамилию, так что вам надо быть здесь в клубе», на что он ответил: «Я, может быть, пришлю сына».

В этом было такое пренебрежение не только к правительственной награде, но и к той огромной радости, к тому духу единства, которым был полон народ!

Я не могу забыть, как мы сидели и ожидали здесь в клубе Андроникова, который ездил в Переделкино, чтобы поставить свои подписи под Стокгольмским воззванием. Мы помним, как он много ходил перед Пастернаком, чтобы он поставил свою подпись; мы помним его реакцию на венгерские события.

В докладе, который мне довелось сделать на Московском Пленуме по вопросу поэзии, я помню, что тогда, внимательно изучив последние стихи Пастернака, я центром доклада сделал разбор двух стихотворений — Твардовского и Пастернака, об отношении к искусству. Товарищи, которые были на Пленуме, помнят этот разговор. Это было стихотворение, в котором все было сказано, в котором было презрение к народу, ощущение себя сверхчеловеком, это было ощущение чужого человека, и я сказал тогда об этом в докладе. Я в докладе сказал, что перед нами внутренний эмигрант, после чего мне говорили: зачем же так резко?

Мы давно знаем, что рядом с нами живет человек, которого трудно назвать по-настоящему советским человеком. Но за талант и необычайное возвеличивание этого таланта и поднятие его на какой-то невиданный пьедестал мы возлились с ним непростительно долго.

Когда мы разбирали на Президиуме этот вопрос, то мы поняли, что в этом была необычайная бережность, излишняя, как мы теперь видим, и желание сохранить человека и поверить ему.

Вы помните, что Пастернак вдруг, сочиняя разные вещи, написал несколько строчек о Ленине, и настоящих. (Голос с места: А вы сразу умилились...)

Видимо, товарищ, подавший голос, в ту пору умилился... Он иногда выдавал советского толка стихотворения. Он жил так все время, очень хитро пряча сущность того, что он думает, и это привело к тому, что мы непрерывно возились с ним. Это серьезный наш недостаток.

Теперь, когда мы говорим — как жить дальше, то мне кажется, что прав Сергей Сергеевич, который говорит, что это должно быть для нас хорошим уроком, что это должно привести к тому, за что мы непрерывно боремся, — к очень большому чувству локтя. А вот мелкое честолюбие, о котором говорил С. Смирнов, мешает нам иногда существовать и решать очень большие вопросы.

Мне хочется призвать вас всех к очень большой и дружной работе, потому что сейчас, как никогда, мир на нас смотрит, как никогда, сейчас наше с вами слово здесь на трибуне и слово за письменным столом имеет непосредственное грандиозное значение в той борьбе, которая происходит в мире. Мы все думали — что же миндальничать? Что скажут т. н. друзья за рубежом? Мы должны думать о них, но мы не должны бояться, мы не должны оглядываться бесконечно, как оглядывались с Пастернаком. Мы должны нести свою правду, и, когда нашему народу нанесено такое совершенно необычайное оскорбление, у нас не может быть никакого другого решения.

Пастернак, по существу, является ярчайшим примером космополитизма в нашей среде. У нас было много разговоров. Это настоящий законченный образец космополита. Вы, Сергей Сергеевич, сравнивали Самгина с Живаго, но Горький разоблачил Самгина, а здесь Самгин выступает в роли автора романа. Тут можно спорить, точно это или не точно, но разоблаченный Горьким самгинизм здесь присутствует.

Мне кажется, что если действительно Пастернак, ко-

торый всю свою жизнь, по существу, прожил внутренним эмигрантом, во время, когда все больше и больше самых лучших людей мира обращают к нам свои дела, сердца, взоры, — ухитрился не понять того, где он живет, если Пастернак в своем письме, которое он к нам прислал, за каждой строчкой которого стоит настоящий иезуит, где он пишет, что он нас прощает, пишет: «Я знаю, что вы под давлением обстоятельств это сделаете, но я вас прощаю», вы слабые люди, а я сильный человек, то мы очень хорошо знаем Пастернака в других проявлениях. Мы знаем его разговор о Манделштаме. Если этот человек не желает жить с нашим народом, если он не хочет работать на коммунизм, не понимая того, что это единственное, что есть в мире, что может спасти человечество от того пути, на который его толкает империализм, если человек последние годы находил время возиться с боженькой, если этот человек держит все время нож, который все-таки всадил нам в спину, то не надо нам такого человека, такого члена ССП, не надо нам такого советского гражданина!

**Н. В. Чертова:**

Есть следующее предложение по поводу состава комиссии по выработке решения собрания: Лесючевский Н. В., Чертова Н. В., Гус М. С., Зелинский К. Л., Антонов С. П.

**С. С. Смирнов:**

Нет возражения против этого состава?

**Голоса:** Нет.

**С. С. Смирнов:** Разрешите не голосовать?

**Голоса:** Не надо.

**С. С. Смирнов:** Позвольте состав комиссии считать принятым. Слово предоставляется К. Л. Зелинскому.

**К. Л. Зелинский:**

В прошлом году я имел возможность очень внимательно и, как говорится, с карандашом в руках прочитать роман «Доктор Живаго». У меня не получилось разговора с автором и не могло получиться. У меня осталось очень тяжелое чувство от чтения этого романа. Я почувствовал себя

буквально оплеванным. Вся моя жизнь казалась мне оплеванной в этом романе. Все, во что я вкладывал силы на протяжении 40 лет, творческая энергия, упования, надежды, — все это было заплевано.

И действительно, здесь дело не в отдельных поправках, которые могли быть внесены автором в роман. Для человека моего поколения, который еще помнил Пастернака где-то в окружении Маяковского, не так просто было прийти к сознанию, что передо мной внутренний эмигрант, враг, совершенно враждебный идейно, человечески, во всех смыслах чужой человек.

Этот роман с точки зрения художественной представляет собой яркий образец декадентской литературы — и фрагментарность формы, и всевозможные отступления, растянутость, лишние диалоги, огромное количество цитат из евангелия, из псалмов (я просто удивился, откуда такая начитанность узко церковной литературой). Он действительно наполнен прошлыми, мещанскими, обывательскими анекдотами, вроде того, что марксизм — самая далекая от жизни наука и т. п. Я не хочу перечислять всю эту мерзость, дурно пахнущую, оставляющую очень скверное впечатление. Для меня это было очень странно, потому что я видел в Пастернаке поэта, художника, который опустился до такого уровня. Но дальнейшее, что мы узнали, раскрыло как-то еще больше весь подтекст и такую страшную вещь, о которой здесь правильно сказал Смирнов, — предательскую психологию, предательский комплекс во всем.

Вы должны знать, товарищи, имя Пастернака сейчас на Западе, откуда я приехал, это синоним войны. Пастернак — это знамя холодной войны. Не случайно за это имя уцепились самые реакционные, самые монархические, самые разнузданные круги. Портреты Пастернака печатают на первых страницах газет рядом с другим предателем Чан Кай-Ши.

Вот в моих руках газетка, которая издается в Риме,

которую я только что привез, — «Дейли Америкен», издающаяся на английском языке. Видите, на первой странице портрет Пастернака и комментарии по поводу присуждения ему премии. Здесь говорится о том, что присуждение Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго» является литературной атомной бомбой против коммунистического режима. Далее говорится о том, что якобы какой-то шведский критик назвал присуждение этой премии ударом в лицо советскому правительству. Вот как враги восприняли присуждение Пастернаку Нобелевской премии. Повторяю: Пастернак — это война, это знамя холодной войны.

Но я хочу разоблачить, рассеять ту легенду, которая создается вокруг Пастернака, о том, что якобы у нас, в Советской стране, не оценили этого большого художника, а что вот на Западе лучшие круги интеллигенции его высоко ценят. Это абсолютная неправда.

Я был в числе товарищей в составе советской делегации, которая участвовала на Международном конгрессе писателей в Неаполе. Там присутствовало около 400 делегатов от разных стран. Над зданием, где происходил конгресс, развевались флаги 22 государств. Там были голландцы, западные немцы, англичане, бельгийцы, французы, представители самых различных стран. Но этот конгресс проходил под знаком поисков солидарности, дружбы, создания какого-то единства. И очень интересный факт: на этом конгрессе упоминались имена не только замечательных русских классиков Толстого, Горького, Достоевского, но упоминалось имя Маяковского наряду с другими писателями мира. Там были разные писатели, в том числе и вовсе не относившиеся к нам дружественно (например, в числе писателей присутствовал известный писатель академик Андрэ Шамсон), но никто на этом конгрессе не произнес имя Пастернака. Почему? Да потому, что это было бы бестактно, потому что каждый понимал, что это то же самое, что неприличный звук в обществе, потому что люди, желающие найти какие-то контакты друг

с другом, не могли произнести это имя. Это очень характерно. Это показывает серьезность сдвига, который происходит сейчас в мире. Я уже не говорю о нашем замечательном Ташкентском конгрессе, где тоже имя Пастернака просто не могло фигурировать. Это легенда думать о том, что якобы мы недооцениваем Пастернака, а кто-то на Западе — лучшие ценители, рафинированные эстеты и вообще знатоки искусства высоко ценят Пастернака.

Еще несколько примеров, которые говорят о том, что Пастернак — это война, и все честные, порядочные люди и за рубежом это понимают, и те, которые не хотят раздувать пламя холодной войны, те, которые не на стороне поджигателей, они стремятся выразить это всеми возможными средствами. В субботу, 25 октября, в Риме Общество «Италия — СССР» устроило в честь нашей делегации прием — встречу с римской интеллигенцией. После доклада тов. Щегловского, который дал очень выразительную картину наших контактов, международных связей, которые существуют у советских писателей с зарубежными литераторами, который убедительно показал, как широко знакомят у нас читателя с итальянской литературой, поднимается в аудитории некий критик Пауль Милан, который специализировался на том, что он был занят пропагандой Пастернака и его творчества, и задает нам такой вопрос: «Я хочу, чтобы все члены делегации (а нас было четверо), чтобы все они высказали свое отношение к Пастернаку», — надеюсь, что мы, делегация, не получили инструкции из Красной Москвы, как-нибудь спутаемся. И еще задал несколько провокационных вопросов. Но мы единодушно сказали: «Нет», и «Нет» сказала аудитория, которая нам устраивала овации. Тут Милану не удалось вбить клин между нами и римской интеллигенцией. Нас поздравляли и приходили пожимать нам руки.

Ко мне пришел русский священник, который присутствовал на собрании. Почему? За что? За то, что я сказал, что у Пастернака, который якобы возглавляет идеи христи-

анского гуманизма, но что у нас в нашей стране церковь не противопоставляет себя правительству. Это показывает, что Пастернак одинок, это самый жалкий реакционный отщепенец. Американские газетенки — вот кто его поддерживает. Это невозможный анахронизм, это то, что пахнет таким нафталином, что это выпадает из всего круга умственной жизни не только нашей страны, но и на Западе.

Наша делегация стала объектом нападков со стороны буржуазных газет в связи с этой премией, которая брошена, как атомная бомба. Писатели, не только прогрессивные, наперекор выражали нам сочувствие. К., который устраивал прием в честь делегации, приходил в гостиницу, чтобы подчеркнуть, что «мы с вами, друзья, не думайте, что мы в том лагере».

Я не называю имени одного итальянского писателя, не желая навлечь на него неприятности, но это видный итальянский ученый и писатель, который сделал перевод книг Пастернака на итальянский язык. Он говорил, что в эти дни, в дни после присуждения Нобелевской премии, его квартира превратилась в осажденный лагерь для буржуазных журналистов. Яркая антисоветская сенсация была организована. Но этот человек не является ни коммунистом, он запер свою квартиру и пришел к нам и сказал: я не буду участвовать. Пастернак — это война. Я не буду в ней участвовать.

Так что мы должны понять, что Пастернак, который казался нам человеком, сделанным из слоновой кости, эстетом, неземным существом, — оказался одним из самых ярых, самых резких выразителей именно политической борьбы. И это есть очень серьезный теоретический урок, который нам надо сделать, о том, как искусство на практике... Казалось бы, что из себя это представляет.

В заключение мне хочется сказать вот по какому вопросу, о котором здесь уже говорил тов. Смирнов, — относительно окружения Пастернака, относительно некоторых из нас, которые в известной мере повинны в том, что

создавали ему микроклимат, культ личности, обожа-  
ние, восхваление.

Я так же, как и тов. Смирнов, считаю, что те, которые в этом повинны, должны себя узнать и сказать. Это слишком серьезный урок для всех нас. Я думаю, что мы должны задуматься над вопросом о характере даже нашей воспитательной работы, потому что действительно наша иногда бережливость, дружеское отношение, они часто теряют свою принципиальную грань и начинают превращаться в ту форму либерализма, которая становится поддержкой врага. Я помню, что я сам, прочитав телеграмму Пастернака, поверил, что он будет роман переделывать.

Для нашего старшего поколения не так легко прийти к сознанию, что перед тобой твой сосед — твой враг, причем очень опасный, очень извилистый, очень тонкий враг, который может под прикрытием обладания эстетическими ценностями нанести тебе удар в спину. Это человек, который держит нож за пазухой.

Об одном случае я все-таки расскажу, о том, что окружение Пастернака прибегало к такой мере, чтобы терроризировать тех, кто становился на путь критики Пастернака. Так, например, когда появилась моя статья «Поэзия и чувство современности», в Президиуме Академии Наук меня встретил заместитель редактора журнала «Вопросы языкознания» В. В. Иванов. Он демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны. И я хочу, чтобы эти слова достигли до его ушей и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку.

Да, должна быть проведена очистительная работа, и все мы должны понять, на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода. Этот лжеакадемик должен быть развешен.

Товарищи, наша страна идет к великому подъему. Мы



все идем навстречу XXI съезду партии, на котором будут названы цифры, о которых мечтал Ленин, — цифры о том, как мы уже будем перегонять капиталистический мир.

Все люди во всем мире, на всех континентах — в Европе, Азии, Африке, — все взоры лучших людей обращены к нам. И вот в этой обстановке этот мерзостный, отвратительный случай, он нас сегодня лихорадит и идет вразрез тому, что происходит в мире.

Я совершенно согласен с тем, что мы должны сказать этому человеку, который перестал быть советским гражданином: «Иди, получай там свои 30 сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен, а мы будем строить тот мир, которому мы посвятили свою жизнь!» (А плоды менты.)

**С. С. Смирнов:**

Дорогие товарищи! Когда обсуждается такой вопрос, то не хочется торопить ораторов, но я прошу выступающих товарищей учесть, что записавшихся много, а собрание наше все-таки не может тянуться до бесконечности. Слово предоставляется Валерии Герасимовой.

**Валерия Герасимова:**

Товарищи! Вся эта история с Пастернаком каким-то образом совпала во времени с таким для меня важнейшим моментом всей моей жизни, как 40-летие комсомола. И вот я хочу выступить здесь под давлением того, что я называю своими собственными убеждениями. Дело в том, что в хорошем письме редколлегии «Нового мира» (я не знаю, с опозданием оно появилось или без опоздания) — книга Пастернака проанализирована довольно умно и тонко, с большими подробностями, и те моменты, которые в ней развернуты, заставили особенно остро и очень отчетливо прочувствовать тот безграничный контраст между тем, что пишет Пастернак, и тем, чем жило наше поколение, которое когда-то чрезвычайно смело вошло в строительство нашей жизни, вошло в партию, вошло в строительство нашей советской литературы.

Дело в том, что на этих вечерах, посвященных 40-летию комсомола, приходилось вспоминать как раз о тех моментах, которые извращенно даны в книге Пастернака. Когда я читала страницы его «Доктора Живаго» (когда доктор вместо того, чтобы стрелять в наступающих белогвардейцев, притаившись, стреляет в дерево и лишь случайно попадает в одного — Сережу, добровольного белогвардейца, и что Сережа спасен потому, что пуля попадает в ладанку, повешенную на грудь Сережи его мамой), меня, человека, который помнит это все и пережил,— меня не могли оставить равнодушной все эти прилагательные к тем лицам, которых я помню в своей юности. Эти «выразительные и привлекательные» лица белогвардейской молодежи — я помню совершенно другими. Приходилось и слышать и говорить на вечерах комсомола о том, как эти молодые люди, выходцы из привилегированных семей, расстреливали и запарывали во времена колчаковщины тех парней и девушек, которые стремились отстоять правду нашей жизни, правду социализма, дело коммунизма.

И — интересная деталь. Когда я выходила из одного из собраний, я увидела — просто стоят люди и читают «Литературную газету». Я не могу вам сказать сейчас, кто были эти люди: были ли они рабочие или интеллигенты,— потому что у нас облик сливается одной категории людей с людьми других профессий и с интеллигенцией. И вот я услышала, по-моему, очень хорошее и меткое замечание.

Один товарищ, читая как раз это письмо редколлегии «Нового мира», говорит: «Господи (или другой термин он употребил, не помню), и он еще сомневается, что нужна была Октябрьская революция,— так, что ли, выходит?!»

— Да, сомневается. И по вопросу о белогвардейцах — как будто пересматривает этот вопрос.

А следующий говорит: «Да это не доктор Живаго, а давным-давно Мертваго!» (С м е х.)

И действительно, товарищи, это так. Невероятной архаичностью (я подчеркиваю это слово) повеяло на меня

со страниц, которые развернуты в письме редколлегии «Нового мира».

Или этот вопрос о массе, которую Пастернак изображает как быдло, как темную силу.

Совершенно иначе и очень любовно решают наши советские авторы эту проблему. Разве — не так же проблемы личности и массы поставлены в «Разгроме» Фадеева? Вы помните это жалкое отребье и убогого индивидуалиста Мечика, — как он проигрывает на фоне этих «темных» и «диких» людей, как Морозко и его товарищи по партизанскому отряду! Ведь эта масса, пусть темная и задавленная наследием царского строя, — это великая масса, и ее величие понял даже Блок в своих «Двенадцати», когда он пишет, в завуалированной форме, о своем восхищении этими матросами, которые боролись и отдали жизнь за дело революции! Вопрос этот разработан талантливо в нашей советской литературе, и позорно возвращаться к старым позициям, как это пробовал сделать Пастернак.

Или вопрос о нашей интеллигенции. Нечего фальсифицировать и утверждать, что вся интеллигенция приняла Октябрь сразу. Конечно, это было не так, и, конечно, какая-то часть ударилась в лагерь «докторов Живаго». Все это было; и были, наконец, и прямые враги. Но шли годы, и интеллигенция морально перевоспиталась. Некоторая часть откололась в стан наших прямых врагов, но великие идеи коммунизма сделали свое дело. Интеллигенция стала органической частью всего великого трудового народа. И когда я читала строки о том, что Пастернак видит в докторе Живаго «цвет нации», цвет духовной жизни, цвет интеллигенции, то совсем другие образы встали передо мной.

Вспомните «Депутата Балтики», вспомните профессора Полежаева, прообразом которого был замечательный ученый Тимирязев! Вспомните, товарищи, человека, о котором я никогда не могу забыть, и мы вправе гордиться, что он в нашей среде, и мы с ним вместе сидели в зале за-

седаний,— это великий педагог Антон Макаренко. Вот какая интеллигенция была действительно цветом нации. Вот та интеллигенция, к которой мы, каждый по-своему (в меру своего взлета), вправе себя причислить.

Я скажу одно: что мне было радостно слышать, когда К. Зелинский, который бывал за границей, сказал нам, что, очевидно, эта провокация не удалась. Народ и интеллигенция всего мира почуяли запах этой провокации. Но оставим мертвое — мертвым, а мы строим наше вечно живое дело в нашей советской литературе, на благо нашему живому и сильному социалистическому обществу. (А п л о д и с м е н т ы.)

**С. С. Смирнов:**

Сейчас объявляется перерыв. После перерыва первым выступает В. Перцов, а затем Александр Безыменский.

---

**Председательствующий С. С. Смирнов:**

Продолжим нашу работу. Слово предоставляется В. О. Перцову.

**В. О. Перцов:**

Вот уже прошло, пожалуй, больше недели с тех пор, как факты, которые послужили причиной созыва нашего сегодняшнего собрания, стали известны. Появились статьи — и в «Правде», и в «Литературной газете», и то непосредственное ощущение негодования, которое было в первый момент, казалось бы, должно было улечься. Но вот сегодня, когда С. С. Смирнов огласил те документы, которые не всем были известны,— лично я впервые слышу, например, эту омерзительную эпистолярную часть о творчестве Пастернака, адресованную туда,— я должен сказать, что чувство негодования не может улечься.

Одна вещь поразила меня, между прочим, в тех тезисах, которые были здесь оглашены. Это тот факт, что автор «Доктора Живаго» считал для себя смягчающим обстоя-

тельством то, что он свой роман передал в иностранное издательство тогда, когда появился роман Дудинцева. Но я думаю, что это — совершенно различные вещи. При всех серьезных идеологических ошибках Дудинцева, это все же разные вещи, над которыми следует задуматься.

Хочется отдать отчет в том, что представляет собой этот человек, который оказался предателем. Тут говорили по преимуществу люди старшего поколения, к числу которых отношусь и я. Я был связан с литературной группой, к которой имел отношение и Б. Пастернак. Я встречал его в обществе В. Маяковского. Вопрос действительно не так прост, и если тут предлагали выйти на трибуну тем товарищам, которые были очарованы творчеством Пастернака, — для этого были какие-то основания.

Б. Пастернак является мастером стиха. Здесь предлагали выйти товарищам, которые курили ему фимиам. Я не могу быть в этом ряду образцом того, что человек думал так, а потом стал думать иначе, я не курил ему фимиам, но никогда не думал о возможности той низости, свидетелями которой мы являемся. Я должен сказать: в условиях этой чрезвычайно острой моральной атмосферы, в которой мы обсуждаем действия этой фигуры, — я должен сказать, что представления о роли Б. Пастернака в советской поэзии, как мастера, были, конечно, преувеличены. Дело в том, что, если в решении нашей писательской организации говорилось о том, что Союз писателей стремился бережно охранять и помочь ему, я должен признаться, что мы не всегда понимали ту сложную игру, которую вел и давал в своей литературной продукции Б. Пастернак.

Здесь приводились факты и о том, что Пастернака знают мало в нашей стране, знает узкий круг литературных ценителей. За пределами особо гурманистски настроенных молодых людей стихи его малоизвестны и их не понимают. Это объясняется тем, что его стихи при том, что там всегда есть ряд эффектных строк и необычных метафор, они в целом распадаются, — в них нет того единства формы, кото-

рая дается большой идеей. У него нет такой идеи. У него нет такой идеи, нет чувства, которое давало бы основания для выработки цельной художественной формы.

И конечно, товарищи, разобраться нам во всем этом необходимо. Пастернак — индивидуалист. Он занят разработкой только маленьких вещей вокруг себя. Это поэзия, которую можно было бы охарактеризовать как «восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа». И эта задача, как поэтическая задача, не может рождать большого художника. Поэтому формулировка, которую дала Шведская Академия по поводу продолжения Б. Пастернаком традиций русской поэзии и прозы, — эта формулировка является просто невежественной формулировкой.

Мы не можем сказать, что то, что написано на русском языке, продолжает русские традиции, не можем считать продолжением русских традиций такой роман, как роман «Навьи чары» Сологуба, хотя он написан на русском языке и имеет известную эстетическую ценность. Или такой роман, как позорный роман «Санин» Арцыбашева, или признать русской традицией такую вещь, как эпопею А. Белого «Я», — это бешеное исступление индивидуализма!

И потому, товарищи, мы должны отвергнуть эту формулировку и внутренне понять, что к развитию русских традиций в литературе это индивидуалистическое, антикоммунистическое творчество отношения не имеет.

Здесь тов. Смирнов говорил в своем выступлении относительно порядочности Пастернака. Я, не будучи в числе поклонников и куривших фимиам, в молодые годы опубликовал одну статью о Пастернаке, которая мне дорого стоила, потому что мои товарищи на меня напали за эту статью. Статья эта называлась «Вымышленная фигура». Эта статья была о художественном значении Пастернака и о тех его идейных сторонах, о которых я сейчас говорю. Тогда на меня напали мои товарищи Асеев и Шкловский. Они

тогда верили, что из Пастернака можно еще сделать человека.

Я думаю, что это не только вымышленная, преувеличенная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура. Тут вам не объявляли, и это совершенно не нужно, а в «Литературной газете» была только одна фраза из т. н. «Автобиографии» Пастернака, которая теперь, как мне известно, опубликована в Париже. Я читал эту автобиографию, он ее предлагал в качестве вступления к сборнику «Избранного» в Гослитиздат. Ничего более гнусного, чем там написанное о Маяковском, я не читал, а ведь Маяковский сыграл большую роль в жизни Пастернака, и если были у него когда-то человеческие вещи, те, которые написаны в 1925 году по воспоминаниям революции 1905 года, то сам Пастернак говорил, что Маяковский сыграл большую роль в том, что эти вещи были написаны, и что там были чувства, которые там, правда, мелькнули маленьким эпизодом.

Что же он написал о Маяковском? Он в своих тезисах ссылается на какое-то письмо тов. Сталина. По-видимому, это то письмо он имеет в виду, о котором он пишет в своей автобиографии. Когда я услышал эту фразу (а вы помните, что тов. Сталин назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи), то я послал автору этого определения письмо с выражением благодарности за то, что он вывел меня из того ложного положения, в котором я очутился, получая признание в том, что он, Пастернак, лучший, талантливейший поэт советской эпохи. И он говорит, что у него нет сомнений! Это такое непонимание себя в литературе и в мире, которое является результатом полного разрыва с людьми, сказавшимся и в поэзии его, и в поведении. Затем теперь, когда он представил свой роман, а не письмо на имя руководителя нашего правительства, в Шведскую Академию, то там его соискание увенчалось успехом, там его признали.

Я читал роман. Я должен сказать, что написанное и

опубликованное в «Литературной газете» письмо редакции «Нового мира» очень точно. Там нет никаких натяжек. Тон, который [...] редакцию надежды и желанья что-то сделать, помочь этому человеку, только тон может сейчас вызвать возражение.

По существу это совершенно верно, и поэтому нужно еще добавить, что это довольно нудное и насквозь обнажающее пружины идеологической схемы повествование. Самые темные, самые реакционные стороны этого позорного десятилетия, о котором говорил Горький, самые ничтожные стороны того, что называется достоевщиной и что ни в какой мере не охватывает величия этого русского писателя, — все это нашло отражение в этом романе. Я прочту эту цитату: «Пусть мир погибнет, лишь бы мне чай пить». Вот эта философия, она двигала пером автора на протяжении его чрезвычайно пухлого, длинного и тяжело читаемого произведения. Вот то место, о котором упоминал С. С. Смирнов: «Загадка жизни — загадка смерти. Прелесть обнажения — это пожалуйста, мы понимаем, а мелкие мировые дразги, вроде перестройки земного шара, это увольте, это не по нашей части».

Сергей Сергеевич совершенно прав как читатель. И поверьте мне, если вы хоть сколько-нибудь признаёте тот опыт, который есть в нашей критике для анализа советской литературы и литературы вообще, то могу сказать, что «Доктор Живаго» — это [...] за то, что Живаго говорит, — за это отвечает автор.

Что же делать с этим автором, с этим «сверхчеловеком», с господином Пастернаком? Вы знаете, что Ленин говорил: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Пастернак же держит себя так, как будто бы он свободен от общества, и он действительно от нашего общества свободен. Он от того общества, вот там он действительно будет слугой и там служение ему будет легко. Если это так, то нужно действительно сделать выводы, облегчить его положение — пусть переселяется туда, где ему будет легко пи-



сать, где у него не будет немислимых и ужасных для нас фраз, которыми он должен был оправдывать в своем письме свое поведение.

Мне кажется, что тов. Семичастный прав. Мне и многим нашим товарищам просто даже трудно себе представить (я являюсь его соседом), что живут люди в писательском поселке, и не могу себе представить, что у меня останется такое соседство. Пусть он туда уезжает, и нужно дать ему эту возможность, и надо просить об этом, чтобы он не попал в предстоящую перепись населения. (А п л о д и с м е н т ы.)

Вся эта отвратительная история с Пастернаком, конечно, не долго будет жить в нашей памяти в смысле переживаний. У нас есть хорошие задачи, и думаю, что каждый из вас сейчас работает с особым подъемом, с желанием сделать как можно лучше, но уроки извлечь все-таки из этого дела нужно.

Я скажу только об этом уроке (вообще уроков может быть больше), о том, о чем в перерыве мы говорили с товарищами, эта мысль приходила многим: мы поздно опубликовали письмо редакционной коллегии «Нового мира». Когда стало известно, что он передал рукопись буржуазному издательству, я считаю, что это уже стало общественным фактом, и тем более когда книга вышла, тогда нужно было это письмо опубликовать, и мы вступили бы тогда в разговор с буржуазным миром в более выгодной позиции для нас. Это упущение нам нужно запомнить, и, постаравшись извлечь уроки, которыми эта история богата, давайте, товарищи, по-настоящему хорошо работать.

**С. С. Смирнов:**

Слово предоставляется А. И. Безыменскому.

**А. И. Безыменский:**

Мне не понадобится много времени, чтобы сформулировать свое мнение по вопросу, стоящему сегодня в повестке дня.

В сегодняшний день длительные споры, которые велись

в течение громадного количества времени вокруг фигуры и творчества Пастернака, должны быть кончены одним коротким разговором. Когда пролетарские писатели группы «Октябрь» давали в 20-х и 30-х годах жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы все-таки вели с ним спор так, как будто Пастернак был внутри литературы. Когда в 1934 году на I съезде писателей группа пролетарских писателей, в том числе Сурков, Первомайский, я и другие, давали жесточайший бой Бухарину, объявившему Пастернака таким писателем, на творчество которого должны ориентироваться все советские писатели, когда мы тогда с трибуны I съезда продолжали давать жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы все-таки разговаривали с ним так, как будто он внутри советской литературы. Сегодняшний день Пастернак своим поганым романом и своим поведением поставил себя вне советской литературы и вне советского общества. (А плоды с м е н т ы.)

Дорогие товарищи! Весь этот месяц я непрерывно выступал на собраниях комсомольцев, посвященных 40-летию комсомола. Позавчера этот месяц закончился изумительным праздником во Дворце Спорта. Там было 12 тысяч человек. Это был комсомол. Это был Центральный Комитет комсомола, это были представители сегодняшнего 18-миллионного комсомола, это были представители всех поколений комсомола, всех 67 миллионов человек, которые прошли через комсомол, как сказал сам докладчик. И, товарищи, когда говорил т. Семичастный о Пастернаке и когда была бурная овация, это был голос многомиллионного сегодняшнего и всего комсомола. Что же сказал Семичастный? Давайте это прочтем:

«Пастернак настолько обрадовал наших врагов, что они ему присудили Нобелевскую премию, не считаясь с художественными достоинствами его книжонки. Этот человек жил в нашей среде, а теперь взял и плюнул в лицо

народу. Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему не чинили бы, а, наоборот, считали бы, что этот его уход от нашей среды освежил бы воздух».

Вот тут-то и была настоящая овация молодости нашей страны, высокой, сущей и лучшей. В этом духе, я считаю, нужно принять резолюцию. Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: «Дурную траву — вон с поля!» (А п л о д и с м е н т ы.)

**С. С. Смирнов:**

Слово предоставляется А. В. Софронову.

**А. В. Софронов:**

Товарищи! Мнение единодушно, и надо сказать, что мнение советских писателей единодушно не только между собой, но и с многими нашими друзьями за рубежом, даже там, где мы меньше всего предполагаем.

В июне этого года мне с группой журналистов пришлось быть в Чили, стране, с которой у нас с 1947 года нет никаких дипломатических отношений. Мне довелось провести вечер и ночь за разговором с одним очень интересным человеком — перуанским писателем, эмигрантом из Перу в Чили, очень видным перуанским писателем, который просидел 10 лет в тюрьме, а затем был выслан из страны. Этот человек не коммунист, не социалист, человек, стоящий на перепутье. В машине, когда мы с ним ехали по Вальпарайсо, он сказал, что после того, как появились ваши спутники и многое, что сопутствовало им в Советском Союзе, если меня спросят, по какую сторону баррикад я буду, я буду с вами. Конечно, мы разговаривали много и о литературе.

Нам иногда кажется, что за пределами Москвы, за пределами Советского Союза мало интересуются подробностями нашей литературы. Оказывается, это не так. Даже там,

в этом небольшом чилийском городе Вальпарайсо, писатель Дельмаг был очень подробно информирован о некоторых событиях нашей литературы. Так, он сказал мне: «Странно вы себя ведете с Борисом Пастернаком, он ваш враг». Я книгу не читал тогда и сейчас не читал. Я говорю: «Знаете, это очень странный человек, заблуждающийся, с ложной философией, у нас его считают несколько юродивым». Он говорит: «Бросьте, какой он юродивый! Он совсем не юродивый. Он всю свою политическую программу — программу отрицания Октябрьской революции — изложил очень ясно, очень подробно и очень зловредно для вас, потому что эта книжка (а она распространялась до получения Нобелевской премии уже в течение полутора лет главным образом на английском и даже на русском языке) приносит здесь вред и является знаменем антисоветской пропаганды».

И мы в этом убедились не один раз — и в Сант-Яго и в Буэнос-Айресе, где задавали нам соответствующие вопросы на пресс-конференциях и т. д. Это для нас большой и тяжелый урок, он тяжелый еще и потому, что мы в какой-то степени с запозданием решаем этот вопрос. Вчера я выступал в авиационной Академии, меня окружили после выступления военные и спрашивали: «Что же вы, писатели, проморгали, когда все это было давным-давно известно...» (Г о л о с а : П р а в и л ь н о с п р о с и л и !)

Я тоже думаю, что правильно спросили. И если бы мы все достаточно принципиальны были в этих оценках всяческих явлений вплоть до этих явлений, то мы могли бы своевременно дать правильную оценку Пастернаку.

Тут правильно говорил т. Смирнов относительно вот этого «чистого искусства».

Каждый из нас прошел жизненный путь — один пришел с завода, другой с учебной скамьи и т. д., всегда в этих случаях невольно сопоставляешь свой жизненный путь. И вот я вспомнил — откуда появилось мое понимание Пастернака. Я знал Безыменского, Жарова, Маяковского и

других поэтов. И вдруг, когда я попал на курсы молодых поэтов в 1934 году (писал свои стихи, но не читал Пастернака), нам привезли Пастернака в сопровождении секретаря партийной организации, видно, как нам объяснили, на случай того, если он не так скажет, секретарь партийной организации поправит его. (С м е х в з а л е.)

Но он ничего определенного не говорил, он говорил только и давал отрицательные оценки писателям и поэтам, в том числе и Бедному, и проявил всякого рода юродничество. Потом я был на съезде писателей в 1934 году, представлял литературную группу «Ростсельмаша». И для меня было непонятным все, это не первая дискуссия, которая шла вокруг имени Пастернака. И та апологетическая оценка, которую дал его творчеству Бухарин и его все друзья, а мы все были на стороне таких товарищей, как Сурков и др., которые выступили с отповедью Бухарину.

Мы сами иногда, честное слово, не потому, что мы бываем подозрительны друг к другу, и чистосердечные замечания и советы воспринимаем не так, как надо. Вот я помню обсуждение стихов Пастернака в 1944—1945 гг. Шла война, было все страшно, такие были сложности, а в зале Союза писателей воспевалась такая апологетика на оды Пастернака, это в тот момент, когда шла война, миллионы людей отдавали жизнь... и такая апологетика стихов Пастернака. Некоторые, выступая, говорили, правда очень мягко, что, Борис Леонидович, вам надо было бы жизнь поближе узнать, вам надо быть ближе к жизни. Потом он подошел ко мне и сказал, что да, это очень интересно. И он потом ездил куда-то. Но такое богослужение, которое устраивалось вокруг имени Пастернака, нам не к лицу. И я думаю, что сейчас, когда все это совершилось, когда очень точно названная легенда о Пастернаке пришла к логическому завершению, для нас это решение идейной, идеологической жизни.

Больше принципиальности, больше доверия в этом смысле друг к другу. Нам надо ликвидировать мелкие раз-

ногласия. Мы же, товарищи, советские писатели, стоящие на позициях нашей Коммунистической партии, Советской власти, мы прошли сорок один год, за это время каждый свое вложил в жизнь нашего народа и государства. Мелочи, как говорят, надо убить. И надо в этом смысле больше ценить друг друга.

Мы должны больше внимания обращать на нашу молодежь. Ко мне пришли два юноши — одному 20, другому 23 года. Они сказали: «Вы нас не пугайтесь, мы из салона Пастернака». Я сказал им, что я не пугаюсь. И они дали стихи. У каждого по 20—30 стихотворений. Среди них по одному стихотворению о целине, а остальные пастернаковский сплав. Кто эти юноши? Один с завода, другой из колхоза... Так где же встретили вы этот логический индивидуализм, антисоветчину, какой ветер вас туда занес? Я спросил: «Как на вас повлиял Пастернак?» Они сказали, что нет, он говорит, что писатель должен служить поэзии. Я тогда понял, откуда у этих неустойчивых ребяташек такое настроение. Мне потом сказали, что они ревизионисты. Но я все-таки напечатал одно стихотворение. Это наши советские ребята.

И надо иметь в виду, что у Пастернака были знакомства, дружба, и Пастернак несомненно влиял на какую-то часть творческой молодежи. (Г о л о с а: П р а в и л ь н о!) И нам нужно всем вместе и в СП развенчать эту легенду о Пастернаке, о «чистом искусстве» и развенчать эту легенду в сознании многих о Пастернаке как о замечательном поэте. Эту легенду мы должны с вами развеять. Я тоже сидел в спортзале в Лужниках и слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака не может быть. Не хотел быть советским человеком, советским писателем — вон из нашей страны! (А п л о д и с м е н т ы.)

**Сергей Антонов:**

Товарищи! Шведские академики словесности, в отличие от Шведской Академии, которая присуждает научные

премии, с каждым годом все больше и больше это большое, святое дело оценки художественных произведений, которые должны войти в мировую сокровищницу искусства, это большое и святое дело чаще и чаще заменяют грязным политиканством, направленным на разжигание вражды между народами, на разжигание вражды к коммунизму и на разжигание вражды к нашей стране.

Пять мудрецов, которые заседают в Шведской Академии словесности и которые решают эти вопросы,— они уже не первый раз присуждают Нобелевские премии за литературу людям, которые на это имеют не очень много права. Для того чтобы вести эту недостойную игру, этим пяти мудрецам из Шведской Академии словесности приходится каждый раз выискивать в разных концах земного шара подходящие фигуры,— я бы сказал, с одной стороны, популярные, и, с другой стороны, фигуры, которые были бы марионетками, петрушками для того, чтобы нести такую низкую политиканскую работу.

Чем дальше идет время, тем труднее найти такие фигуры, потому что силы мира растут, и фигуры, которым присуждаются Нобелевские премии по литературе в последние годы, все снижаются. Примером этого может служить фигура Камю — коллаборациониста французского, о котором сами французы со стыдом вспоминают сейчас.

И очень жалко, что в 1958 году такой фигурой, такой петрушкой для того, чтобы вести грязную, антисоветскую работу, — была выбрана фигура человека, который существовал в нашей советской писательской организации. Нашли фигуру Пастернака! Те 40 или 50 тысяч американских долларов, которые получил Пастернак,— это не премия, это благодарность за соучастие в преступлении против мира и покоя на планете, против социализма, против коммунизма. Вот что это такое!

И мне кажется, что Нобель перевернулся бы в своем гробу, если бы ему стало известно, куда тратится сейчас его наследство (в з а л е ш у м), потому что у него было сказа-

но в завещании о том, что, в частности, он ассигнует эти деньги за труды, способствующие торжеству дела мира.

Что же, в сущности, произошло? Что принесет это? Можно сказать попросту, чтобы было понятно: человек поставил пушку и собрался стрелять по своим, когда написал этот роман. Его предупредили, ему написали письмо — дельное и вразумительное. В этом письме было сказано, что ты, братец, собрался стрелять по своим; причем сказано было очень вежливо. Тогда Пастернак, как он пишет в сегодня опубликованном письме, — «считая шире возможности советского писателя, чем они есть», — представил эту пушку за границу и стал оттуда палить!

Может быть, предположим, он недопонял, что он делает, но ему во французских газетах написали, и портрет его там поместили, и написали, что человек бьет по коммунизму. Тогда он после этого написал телеграмму в ответ на эту премию, что «бесконечно счастлив и горд!».

Все это выглядит чрезвычайно тяжело. Когда говорят о «чистом искусстве», то действительно это чистое искусство, которое может прельстить в первое время, — это чистое искусство превращается в грязное искусство, анти-советскую клевету. В конце концов к этому дело приходит. И вот мне кажется, что то решение, которое мы приняли об исключении Пастернака из Союза писателей, — его приняли слишком поздно, как мне кажется. Можно было бы принять это решение год тому назад. Надо дополнить это решение — решением о том, чтобы Пастернак не был не только членом Союза писателей, но не был бы и советским гражданином. (А плоды с м е н т ы.)

**С. С. Смирнов:** Слово имеет Борис Слуцкий.

**Борис Слуцкий:**

Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная



им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература? В год смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора «Анны Карениной». Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду, и вот у кого он ищет поддержки!

Все, что делаем мы, писатели самых различных направлений, — прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле. (А п л о д и с м е н т ы.)

#### **Галина Николаева:**

История Пастернака — это история предательства. В этой истории для меня, например, как для писателя и как для человека, является интересным один момент: является интересным то, что в ней есть своя закономерность. Это в какой-то степени доведенный до своей последней точки индивидуализм.

В этой истории как бы выявилась сущность, которая была прикрыта, не отчетливо выражена еще года два тому назад. В частности, она выглядит очень отчетливо, со всей очевидностью в какой-то закономерности сейчас.

Многие из выступавших здесь товарищей не любили и не воспринимали поэзии Пастернака. Я принадлежу к людям, которые многие его стихи любили и воспринимали. Я люблю его стихи, посвященные чувству любви к природе, посвященные Ленину, Шмидту и т. д., но, несмотря на то, что отдельные строки этих стихов доходили до меня, у меня было всегда досадное чувство: почему этот человек, с таким незаурядным поэтическим даром, так ограничен и замкнут в своем маленьком мире? И всегда, когда читала его, я откладывала книгу с чувством невольного огорчения и надежды.

Мне кажется и казалось, что этот одаренный человек не видит того, что делается, не выходит за пределы того мирка, где он живет, не видит людей, о которых мы пишем, людей, которые достойны высокого поэтического накала. Казалось, что Пастернак найдет какой-то другой путь, казалось, что рано или поздно он придет к нему.

Письмо товарищей из «Нового мира» слишком мягко и продиктовано, очевидно, той же надеждой, что рано или поздно этот индивидуалист, живущий в нашей стране, осознает необходимость другого пути.

Мы читаем роман о докторе Живаго и можем с твердостью сказать, что это такой плевок, в наш народ, в то большое дело, которое делается у нас, которого трудно было ожидать даже от Пастернака. Но все же и у меня, когда писали об этом романе, о том, что ему присуждена Нобелевская премия и т. д., все же теплилась еще какая-то надежда, что, может быть, человек придет сюда к нам и скажет: я не хочу этой презренной премии, признаю, товарищи, что я попался в лапы реакции, — такая надежда у меня была. Но вместо этого мы получили трусливое письмо и эту телеграмму, которая ничего не меняет, — о том, что он вынужден отказаться от премии под напором общественности (а не под напором своего собственного внутреннего понимания того, что произошло!).

Этот человек ни разу не пришел ни на одно наше собрание, на которых мы взволнованно говорили о нем. Все это, вместе взятое, заставляет нас быть единомышленным — т. е. не только исключить его из Союза, но просить правительство сделать так, чтобы человек этот не носил высокого звания советского гражданина. Некоторые товарищи говорят, что опасно пустить его, как щуку в воду. Но мы не боимся его, не считаем его опасным, а делаем это потому, что он нам противен. Мы знаем, что за рубежом много у нас врагов, пусть будет еще одним больше — дело коммунизма от этого не пострадает, и мы будем продолжать строить наше коммунистическое общество. И я присоеди-

няюсь к тому, что не место этому человеку на Советской земле.

И еще один урок для каждого из нас: всегда соблюдать глубочайший интерес к общественному мнению, к народному суждению, преданность делу социализма — это должно стать основой творчества каждого советского писателя. (А п л о д и с м е н т ы.)

### **В. Солоухин:**

Товарищи, говорят иногда, что Б. Пастернак в каких-то определенных датах своей жизни был то лоялен по отношению к нашему обществу и Советской власти, то постепенно отходил от этого, проходя постепенно эволюцию отщепенца. Но мне кажется, что это неверно, так как его поэтическое дарование, комнатное, камерное,— само говорит за себя. Время от времени сквозь его непонятные народу строки проскальзывали совершенно определенные вещи.

Возьмите хотя бы такие строфы:

Кашне от ветра заслонясь,—  
Я крикну в фортку детворе,—  
Какое милое у нас  
Тысячелетье на дворе!

И это в то время, когда наша страна переживала какие-то трудности! Находишь у него еще другие, более конкретно выраженные вещи:

Я слежу за разворотом действий  
И играю в них во всех пяти (?)  
Я один. Повсюду фарисейство.  
Жизнь прожить, не полс перейти.

Здесь все очень ярко выражено и очень прямо! Это его изоляция!

Напрасно в дни великого совета,  
Где высшим строем отданы места,  
Оставлена вакансия поэта.  
Она опасна, если не пуста... (?)

Если разобраться в этих строках, то ясно, что настоящий поэт должен находиться в оппозиции к обществу, в котором живет! Вот почему «Доктор Живаго» не является исключением в его творческой биографии. Здесь все закономерно. Говорят, что он не понял гражданской войны, не понял революции. Но мы знаем замечательные примеры обратного, знаем, что А. Толстой, замечательный русский писатель, интеллигент и к тому же граф, — представитель класса, который не принял Октябрьской революции, — написал ярчайшие страницы о гражданской войне, сумел разобраться во всем этом. Знаем, как реагировал на это В. Брюсов, М. Горький — культурнейший человек нашего времени. Это говорит о том, что все это — сознательная проповедь индивидуализма, достойная внутреннего эмигранта.

Об этом же свидетельствует и то, что он не понял, что присуждение ему Нобелевской премии не является фактом содействия развитию культуры и искусства, а лишь политическим актом борьбы с коммунизмом. Разве этого можно не понять? Б. Пастернак совсем не так наивен, как многие из нас думают.

Некоторые товарищи высказывали мысль, что для западного читателя «Доктор Живаго» не так уж интересен, — эмигрантская печать публиковала о нашей стране и о нашем народе вещи еще похлеще. Кроме того, «Доктор Живаго» это вещь о двадцатых годах, по существу, весьма мало интересных, — но эта книга в целом является орудием холодной войны против коммунизма... Разве не мог он это не понять, считая себя таким высоким интеллектом, этой простой, элементарной вещи?

Сейчас идет разговор — поскольку он является внутренним эмигрантом, то не стоит ли ему стать на самом деле эмигрантом? В связи с этим мне вспомнилась такая аналогия. Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то были разговоры — а вдруг она окончательно шатнется и уйдет в тот лагерь. И мудрый Мао Цзэ-дун в устном выступлении сказал, что этого

никогда не будет потому, что американцам нужно, чтобы она была в нашем лагере.

И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом, — он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут. Когда какая-нибудь американская миллионерша попадет в автомобильную катастрофу, то будут о ней шуметь, а Пастернака совершенно забудут. Вот тут и будет для него настоящая казнь. Он там ничего не сможет рассказать интересного, и через месяц его выбросят как съеденное яйцо, как выжатый лимон. И тогда это будет настоящая казнь за предательство, которое он совершил.

### **С. Баруздин:**

Товарищи, завтра исполняется неделя, как наш народ узнал о деле Пастернака, и вот об этом стоит сказать, потому что народ в том понятии, в каком мы понимаем советского человека, не знал Пастернака как писателя. Он узнал его как предателя. И нет ничего более страшного для человека, для писателя быть признанным своим народом на 41-м году жизни Советской власти только как предатель. Вот самое позорное, что есть в Пастернаке.

Два слова о письме Пастернака. Товарищи, что можно говорить о человеке, который черным по белому в суровый час своей жизни пишет: «...честь, оказанную мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому...» Вот все, что есть советского в Пастернаке, только то, что он живет в России, где есть Советская власть. Пастернак об этом сам сказал, и наверняка это письмо будет известно за пределами нашего собрания. Что можно после этого требовать? Есть хорошая русская пословица: «Собачьего права не изменишь». Мне кажется, что самое правильное — убраться Пастернаку из нашей страны поскорее. (А п л о д и с м е н т ы.)

### **Л. Мартынов:**

Товарищи, я вижу, что у нас, здесь присутствующих, не расходятся мнения в оценке поведения Пастернака. Все мы хотели помочь Пастернаку выбраться из этой так на-

зываемой башни из слоновой кости, но он сам не захотел из этой башни на свежий воздух настоящей действительности, а захотел в клоаку.

Вопрос ясен. Что тут я могу добавить? Несколько дней назад мы были в Италии, в той стране, где впервые был опубликован роман и где люди, таким образом, имели время с ним ознакомиться, о нем подумать, в нем разобраться. И действительно, когда во Флоренции один научный работник в беседе со мной резко высказался против романа, сказал, что Пастернак ничего не понял в том, что произошло в мире, не захотел понять Октябрьской революции, — можно было подумать, что это личное мнение одного итальянца. Но когда в Риме в многолюдном зале большинство присутствующих встретило аплодисментами нашу советскую оценку всего этого дела и когда многие повставали с мест и пошли, не желая слушать запутанных возражений нашего оппонента (кстати, единственного), когда люди разных возрастов и профессий окружили нас, выражая одобрение, то не было никакого сомнения в этой оценке. Я уверен, что так дело обстоит и будет обстоять повсюду. Живые, стремящиеся к лучшему будущему люди, не за автора «Доктора Живаго». Если Пастернаку и кружит голову сенсационная трескотня известных органов заграничной печати, то большинство человечества эта шумиха не обманет, и, как правильно заметил Солоухин, интерес к этой сегодняшней, вернее, уже вчерашней сенсации вытеснится иной сенсацией, но интересы, симпатии к нашей борьбе за лучшее будущее, за благополучие человечества не остынут, а будут расти с каждым днем.

Так пусть Пастернак останется со злопыхателями, которые льстят ему премией, а передовое человечество есть и будет с нами.

**Б. Полевой:**

Товарищи! Мне нет надобности повторяться потому, что все товарищи, которые прошли через эту трибуну, в водах своих сказали то, что я наметил для того, чтобы ска-

зять здесь. Мне только хочется сказать вам, как человеку, которому по роду своих писательских обязанностей приходится слушать и читать записи зарубежных передач, о том, как в стане самых оголтелых врагов оценивается роман Пастернака и его награждение.

Вот заметка «Голоса Америки» — «Антикоммунист в коммунистическом лагере». Вот заглавие из западногерманского журнала «Дер Штерн» — «Самый большой удар по коммунизму». Вот заглавие из приложения к «Нью-Йорк Таймс» — «Крупнейший удар по советской культуре».

Но что же, они люди, которые все это инсценировали, инспирировали, которые поднимали пустую книгу, они знают, что они замышляли, и радуются этому делу. Горячая война, которая отшумела, знала своих предателей. Был такой генерал Власов, который вместе со своими приближенными людьми перешел в стан наших врагов, воевал против нас и как предатель закончил свою отвратительную жизнь. Холодная война тоже знает своих предателей, и Пастернак, по существу, на мой взгляд, это литературный Власов, это человек, который, живя с нами, питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших советских издательствах, пользуясь всеми благами советского гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том лагере. Генерала Власова советский суд расстрелял (с места: Повесил), и весь народ одобрил это дело, потому что, как тут правильно говорилось, — худую траву из поля вон. Я думаю, что изменника в холодной войне тоже должна постигнуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: «Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом». (А п л о д и с м е н т ы.)

**С. С. Смирнов:**

Дорогие товарищи! Поступили настойчивые предложения прекратить прения. Я должен сообщить собранию,

что выступило 14 человек. У нас еще много записавшихся. Записались Евгений Долматовский, Сергей Васильев, Михаил Луконин, Галина Серебрякова, Павел Богдан, Павел Арский, П. Лукницкий, Семен Сорин, В. Инбер, Нина Амегова, Владимир Дудинцев, Раиса Азарх, Кугультинов (от имени слушателей Высших литературных курсов).

**Голоса:** Дать слово Дудинцеву.

**С. С. Смирнов:**

Я, как председатель собрания, считаю недемократичным, почему мы дадим слово Дудинцеву, и не дадим слово ораторам, которые записались в прениях до него. Это явное нарушение демократии.

**Голоса:** Его задевали здесь.

**С места:** Пастернак в своем письме поставил знак равенства между своим романом и романом Дудинцева.

**С. С. Смирнов:**

Никто из выступавших, безусловно, не пытался делать такое сопоставление, и это сопоставление пусть остается на совести Пастернака. Но я считаю, что элементарный демократизм требует: или прекратить прения или продолжать.

Есть предложение прекратить прения. Голосую.

Кто за то, чтобы продолжать прения? (М е н ь ш и н с т в о.)

Кто за то, чтобы прекратить прения? (О ч е в и д н о е б о л ь ш и н с т в о.)

Кто за то, чтобы дать слово Дудинцеву? (М е н ь ш и н с т в о.)

Очевидное большинство за прекращение прений.

Я должен сообщить вам, что в Президиум поступили многочисленные записки, в которых товарищи сочли нужным присоединиться к протесту по поводу действий Пастернака и выразили свои патриотические чувства. Такие записки прислали Ирина Левченко, Василий Кулемин и др. (З а ч и т ы в а е т с п и с о к.) Все они горячо поддерживают тон нашего собрания и все, что на нем говорит-



ся. Руководство Союза писателей и Оргкомитет поручил мне довести до вашего сведения, что в Союз писателей и в редакцию газет и журналов непрерывно поступают телеграммы от писательских организаций областей, краев, республик, в которых выражается возмущение действиями Пастернака и поддерживается решение объединенного Президиума об исключении.

Разрешите для оглашения проекта резолюции предоставить слово Н. В. Лесючевскому.

(Лесючевский зачитывает проект резолюции.) (Аплодисменты.)

**С. С. Смирнов:**

Видимо, ваши аплодисменты надо считать принятием резолюции за основу. Возражений нет? (Нет.) Какие будут поправки к резолюции?

**Тов. Болотин:**

Отличается ли эта резолюция от того письма, о котором вы говорили в начале собрания?

**С. С. Смирнов:**

Отличается. Это самостоятельная резолюция.

**Тов. Болотин:**

Вы же предлагали, чтобы к этому письму присоединились товарищи.

**С. С. Смирнов:**

Я считаю, что эта резолюция, которая будет помещена в печати, представляет собой мнение Московской организации, и это будет более правильным и более весомым. Письмо написано до исключения Пастернака из членов Союза.

**С места:** Мне кажется, что в резолюции слово «космополит» надо заменить словом «предатель».

**Н. В. Лесючевский:**

В этом проекте резолюции слово «предатель» присутствует и слово «предательство» тоже присутствует, но человек, предающий свою Родину и идущий на службу к меж-

дународной реакции, является антипатриотом, космополитом.

**Г о л о с а:** Правильно.

**С. С. Смирнов:**

Таким образом, если я правильно понял, то поправку собрание не приняло.

**Р. Азарх:**

В резолюции нужно сказать: «Творческое собрание писателей просит Советское правительство лишить Пастернака советского гражданства».

**С. С. Смирнов:**

Я думаю, здесь явно выражено наше отношение, и дело Советского правительства принять окончательное решение.

**Н. В. Лесючевский:**

В резолюции написано так: (з а ч и т ы в а е т с о о т в. п у н к т ы р е з о л ю ц и и.)

**А. П. Казанцев:**

По-моему, это недостаточно сказано. Тут в форме вопроса стоит: «Кому он нужен?» Мне кажется, что надо сказать, что он нам не нужен, и мы должны просить правительство, чтобы был сделан вывод.

**Тов. Лесючевский:**

Действительно, начинается с вопроса, а потом кончается ответом — «пусть он станет космополитом...».

**Тов. Трифонова:**

Мне кажется, что слово «изгнанник» звучит тут каким-то сочувствием. Есть предложение — заменить словом «эмигрантом».

**С. С. Смирнов:**

Вы слышали поправку А. П. Казанцева. Я считаю, что принято в той форме, как нужно. Есть ли присоединившиеся к поправке Казанцева? (Г о л о с а с м е с т: Е с т ь.)

**С места:** Вы сказали в своем сообщении об этом же, и

ваши слова были встречены овацией. Голосуйте два предложения.

**С места:** Почему Советское правительство должно решать само, без нас? Мы должны просить Советское правительство. И надо так и записать: «Просить Советское правительство...»

**С. С. Смирнов:**

Есть два предложения.

«Просить Советское правительство о лишении Пастернака советского гражданства». (А п л о д и с м е н т ы.)

Голосую: кто за то, чтобы вставить в резолюцию эту фразу с таким обращением к Советскому правительству, прошу поднять руку. Кто против? (1) Поправка принимается. Есть ли еще поправки?

**С места:** В резолюции есть такое место, что Пастернак давно оторван от нашей действительности и народа. Фраза эта неправильная, так как он не был никогда связан с народом и действительностью.

**С. С. Смирнов:**

Товарищ говорит, что Пастернак никогда не был связан с нашей действительностью. Мы попросим зачитать тов. Лесючевского, как записано в резолюции.

**Тов. Лесючевский:**

«...Давно оторвавшийся от жизни и народа, самовлюбленный эстет и декадент...»

**Г о л о с а:** Правильно сказано!

**С. С. Смирнов:**

Может быть, указать: всегда оторванный?.. Какие будут предложения? Есть ли необходимость вносить изменения в этот пункт? Есть предложения согласиться с редакцией, которая была зачитана. Нет возражений? Принимается. Еще какие будут замечания, поправки?

**В. Инбер:**

Эстет и декадент — это чисто литературные определения. Это не включает в себе будущего предателя. Это слабо сказано.

**С. С. Смирнов:**

По-моему, это сказано очень определенно. Есть ли другие поправки? Нет? Какие будут предложения? (Г о л о с а: В ц е л о м!) Кто за принятие этой резолюции в целом, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Резолюция принимается единогласно. (А п л о д и с м е н т ы.)

Товарищи, разрешите объявить наше собрание закрытым.

*«Горизонт», 1988, № 9*

**РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
ПИСАТЕЛЕЙ гор. МОСКВЫ,  
СОСТОЯВШЕГОСЯ  
31 октября 1958 года**

Собрание московских писателей, обсудив поведение литератора Б. Пастернака, не совместимое со званием советского писателя и советского гражданина, всецело поддерживает решение руководящих органов Союза писателей о лишении Б. Пастернака звания советского писателя, об исключении его из рядов членов Союза писателей СССР.

Давно оторвавшийся от жизни и от народа, самовлюбленный эстет и декадент, Б. Пастернак сейчас окончательно разоблачил себя как враг самого святого для каждого из нас, советских людей,— Великой Октябрьской социалистической революции и ее бессмертных идей.

Написав антисоветский, клеветнический роман «Доктор Живаго», Б. Пастернак передал его для опубликования за границу и совершил тем самым предательство по отношению к советской литературе, Советской стране и всем советским людям.

Но и этим не завершилось морально-политическое падение клеветника. Когда международная реакция взяла на вооружение в «холодной войне» против Советского государства и всего лагеря социализма грязный пасквиль — роман «Доктор Живаго» и по ее указке Б. Пастернаку была

присуждена Нобелевская премия,— он не отверг ее, а пришел в восторг от этой оценки своего предательства. Окончательно став отщепенцем и изменником, Б. Пастернак послал телеграмму с благодарностью за эту подачку врагов, протянул руку к тридцати сребреникам.

С негодованием и гневом мы узнали о позорных для советского писателя действиях Б. Пастернака.

Что делать Пастернаку в пределах Советской страны? Кому он нужен, чьи мысли он выражает? Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?

Пусть незавидная судьба эмигранта-космополита, предавшего интересы Родины, будет ему уделом!

Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства.

Ни один честный человек, ни один писатель — все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, продавшему Родину и ее народ!

Писатели Москвы были и будут вместе со своим народом, с Коммунистической партией всегда и во всем. Еще теснее сплотившись, еще активнее крепя свои неразрывные связи с жизнью, мы, писатели столицы нашей Родины, будем помогать партии, правительству, народу в их величественной созидательной работе.

*«Литературная газета»,  
1 ноября 1958 г.*

## Письма читателей «Литературной газеты» 1958 года

### ЛЯГУШКА В БОЛОТЕ...

Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал. А я люблю нашу литературу — и классическую, и советскую. Люблю Александра Фадеева, люблю Николая Островского. Их произведения делают нас сильными и благородными. С детства читаю и люблю Михаила Шолохова.

Много у нас хороших писателей. Это наши друзья и учителя.

А кто такой Пастернак? По цитатам из его произведения видно, что Октябрьская революция ему не по душе. Так это же не писатель, а белогвардеец. Мы-то, советские люди, твердо знаем, что после Октябрьской революции воспрянул род людской.

Мой отец, знатный животновод совхоза № 18, Ростовской области, не был призван в Отечественную войну, — броню имел. А как нажали гитлеровцы, он ушел добровольцем на фронт. Нам, детям, он сказал: надо защищать Октябрьские завоевания, без них мы никто и ничто.

Я еще был мальчишкой, а хорошо понимал это. С войны отец вернулся домой тяжело раненный. Но

ведь не зря пролил кровь, я за свое родное дело. Мы, три брата, работали механизаторами в совхозе. Потом я поехал строить Сталинградскую гидроэлектростанцию. Шесть лет тружусь я старшим машинистом на кране-экскаваторе № 681. Мы достраиваем великое сооружение на Волге. Я работаю на перекрытии русла. Вот ночью была буря, много наделала бед. Трудная была ночь. Сегодня все исправлено.

А какая там буря в луже у Пастернака? Как у лягушки в болоте. Бывает, такое болотце вместе с лягушкой мой ковш зачерпнет да выкинет.

Допустим, лягушка недовольна, и она квакает. А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты.

Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше.

*Филипп Васильцов,  
старший машинист экскаватора*

*Сталинград*

## ОПЛАЧЕННАЯ КЛЕВЕТА

Я — старый врач, работаю в медицине с 1911 года. Отец мой был земским врачом. Муж мой тоже врач. Я росла, выросла и состарилась среди врачей. У меня есть все права сказать Б. Пастернаку, что он, сочиняя образ человеконенавистника доктора Живаго, бросил оскорбление в лицо всем честным служителям медицины, которые ежечасно соприкасаются с людьми, по особому любят свою священную профессию, любят свой народ.

Я работала врачом до революции, в самую революцию и после революции. И я знаю, как велико презре-



ние народное к тем, кто ищет родственных душ в стане врагов народа.

Пасквиль Б. Пастернака на советскую интеллигенцию, на русских врачей нас не затронет. Он целиком останется на его совести, на совести и тех, кто оплатил эту клевету.

*Н. Лучшева, врач*

*Москва*

## ПАСКВИЛЯНТ

Б. Пастернак написал «Доктор Живаго» — злобный пасквиль на советский народ, на его традиции, на его революционный дух. Буржуазная печать с радостью приняла этот пасквиль, Пастернаку даже присуждена Нобелевская премия. За что такая честь? Может быть, за большую художественную ценность книги? Нет, не за это. Сами буржуазные литераторы не видят в ней таких достоинств.

Антисоветский дух, злобная клевета на советский народ, на Коммунистическую партию — вот что полюбилось в Пастернаке нашим идеологическим противникам. Получилось так, что Нобелевскую премию присудили не автору сколько-нибудь значительного литературного произведения, а клеветнику, предавшему идеалы своего народа.

Наш народ имеет поистине замечательных писателей. Многие из них создали художественные произведения, обогатившие мировую культуру. Эти произведения читают сотни миллионов людей на своих родных языках. Вот такие писатели и являются законными и действительно достойными кандидатурами на высокую премию. Но их мы не видим в списках нобелевских лауреатов. Почему?.. Вот об этом-то и стоит

серьезно подумать тем, в чьих руках находится судьба Нобелевской премии.

Что касается новоиспеченного лауреата Пастернака, запятнавшего свою честь и совесть, то советские люди с презрением причислят его к разряду тех, кто продается по дешевке. Сомнительный литературный товар Пастернака недолго будет в цене и за рубежом. Место его — за негодностью — на мусорной свалке!

*А. Дубинский, инженер*

*Киев*

*«Литературная газета»,  
1 ноября 1958 г.*

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА**  
**Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ**

Уважаемый Никита Сергеевич,  
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому  
Правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том,  
что правительство «не чинило бы никаких препятствий  
моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рожде-  
нием, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы  
бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе пред-  
ставить, что окажусь в центре такой политической кампа-  
нии, которую стали раздувать вокруг моего имени на За-  
паде.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Ака-  
демию о своем добровольном отказе от Нобелевской пре-  
мии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносильен  
смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко  
мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской  
литературы и могу еще быть ей полезен.

*31 октября 1958 г.*

*Б. Пастернак*

*«Правда», 2 ноября 1958 г.*

**Вячеслав Вс. Иванов**

## **КАК БЫЛО НАПИСАНО ПИСЬМО Б. ПАСТЕРНАКА**

**Сегодняшний комментарий**

31 октября 1958 года мне позвонила О. В. Ивинская и попросила, чтобы я к ней срочно пришел. У нее уже была А. С. Цветаева-Эфрон. Ольга Всеволодовна сказала мне, что, по словам двух адвокатов, работающих в Управлении по авторским правам, ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, то его вышлют за границу. «Его вышлют, а нас всех посадят», — со свойственной ей категоричностью сформулировала Ариадна Сергеевна.

Я согласился тут же принять участие вместе с двумя уже названными собеседницами и Ирой Емельяновой, дочкой О. В. Ивинской, в сочинении текста письма Хрущеву, желательное общее содержание которого было подсказано Ольге Всеволодовне теми же адвокатами. В тот вечер я был пищиком: не желая ни умалить своей роли, ни оправдаться, скажу только, что мне (как и Ире) формулировки давались с трудом, их в основном придумывали Ольга Всеволодовна и Ариадна Сергеевна, а я записывал после обсуждения.

Когда мы решили, что текст в основном готов, мы вдвоем с Ирой поехали в Переделкино к Борису Леонидовичу. Тот, ничего еще не зная о письме, нас повстречал у калитки неподалеку от конторы дачного городка, откуда он звонил обычно О. В. Ивинской.

Пастернак встретил меня вопросом: «Вы думаете, вышлют? А я вот думал: в истории России в эмиграции оказывались люди, значившие для нее гораздо больше, — Герцен, Ленин...»

Мне казалось, что он готовит себя к мысли о возможности отъезда.

С беспокойством он спросил меня: «А как вы думаете, с кем вместе вышлют?» В сложных семейных обстоятельствах Бориса Леонидовича его, видно, страшила перспектива уехать только с частью близких ему людей, а остальных оставить здесь заложниками.

После очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодовной Пастернак взял у меня текст, перепечатанный ею с моего черновика. Мы условились, что я зайду к нему через некоторое время на дачу. Там он сказал мне, что текст был составлен неплохо. Он его лишь слегка отредактировал и вставил от себя: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее».

С этой вставкой я отдал текст письма Ире, которая отвезла его матери для передачи адресату.

В составлении другого письма (5 ноября 1958 г.) — в редакцию газеты «Правда» — я участия не принимал, об этом тексте Ольга Всеволодовна сама говорила с Пастернаком, специально приехав к нам на дачу. Я при их разговоре не присутствовал. Допускаю, что во втором письме больше было вписано рукой Пастернака, но и здесь основная идея и схема текста не ему принадлежали<sup>1</sup>.

Через несколько дней в разговоре у нас за столом при многих людях Пастернак упомянул о первом письме как о написанном мной. Он не делал тайны из того, что не он — его автор.

В отличие от двух этих не его писем, тогда же с его ведома напечатанных в газетах, до сих пор не опубликованы два предшествующих текста, целиком им написанных по тем же поводам: короткое письмо Фурцевой (по предложению фотокорреспондента, который письмо так и не передал) и пространное — Союзу писателей, которое я сам отдал в руки тогдашнему секретарю СП Воронкову; оно оглашалось на заседании, когда Пастернака исключали, но не вошло в напечатанную сокращенную стенограмму.

---

<sup>1</sup> О. В. Ивинская вспоминает, что письмо Б. Пастернака в «Правду» было написано после «звонка из ЦК. От Пастернака потребовали написать обращение к народу... Борис Леонидович написал — сначала это было отнюдь не покаянное письмо. Потом над ним сильно потрудились, так что получилась ложь и признание вины. Да еще подчеркнуто добровольное...» («Огонек», 1988, № 37, с. 31).

## ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС

В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б. Л. Пастернака товарищу Н. С. Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б. Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б. Л. Пастернаку отказано в праве выезда за границу, являются грубым вымыслом.

Как стало известно, Б. Л. Пастернак до настоящего времени не обращался ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу и что со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы.

В случае, если Б. Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении «Доктор Живаго», то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все «прелести капиталистического рая».

*«Правда», 2 ноября 1958 г.*

**ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ**  
**В. Е. СЕМИЧАСТНОГО НА ПЛЕНУМЕ**  
**ЦК ВЛКСМ**  
**29 октября 1958 года**

...Но, как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым «произведением». Он настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему, не считаясь с художественными достоинствами его книжонки, Нобелевскую премию. Есть у наших мастеров слова произведения, которые являются бесспорными по своему художественному достоинству, но их авторы не были удостоены премии; а за клевету, за пасквиль против социалистического строя, против социализма, против марксизма Пастернак удостоен Нобелевской премии.

Пастернак прожил 41 год в социалистической стране; 41 год он питался хлебом и солью народа, который строил новое на обломках старого, который пережил холод, голод, поднял бывшую Россию к новой жизни, создал из бывшей России могущественное государство, которое потрясает умы всех прогрессивных людей и приводит в страх врагов социализма; народа, который прошел войны, разгромил фашистскую гидру. И этот человек жил в нашей среде и

был лучше обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек взял и плюнул в лицо народу. Как это можно назвать?

Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее.

Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, которые имеют дело с этим животным, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит.

Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. (А п л о д и с м е н т ы.) А Пастернак — этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества — он это сделал. Он нагадил там, где ел, нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит. (А п л о д и с м е н т ы.)

Я хотел бы высказать по этому вопросу свое мнение.

А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался. (А п л о д и с м е н т ы.) Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это. (А п л о д и с м е н т ы.) Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а, наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух. (А п л о д и с м е н т ы.)

*«Комсомольская правда»,  
30 октября 1958 г.*



**СЕГОДНЯШНИЙ  
КОММЕНТАРИЙ В. Е. СЕМИЧАСТНОГО,  
В 1958—1959 ГОДАХ  
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ**

— Я и теперь считаю, что роман Пастернака «Доктор Живаго» — это не произведение высшего класса.

Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне Пленума. Меня, Аджубея. Там был и Суслов. И он (Хрущев) сказал: «Вы не возражаете, я стенографистку позову?» Позвали стенографистку. Он говорит: «Ты завтра доклад делаешь?» Я говорю: «Да». — «Вот ты не возражаешь, в докладе надо Пастернака проработать. Давай сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируете, Суслов посмотрит — и давай завтра...» Надиктовал он две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что «даже свинья не позволит себе гадить...». Но начало было такое: «Не касаясь художественных достоинств этого произведения». То есть возмутителем факт, что человек тут вырос, воспитался, получил образование и плюнул нам в лицо — опубликовал роман за границей. Там такая фраза еще была: «Я думаю, что советское правительство не будет возражать против, э-э, того, чтобы Пастернак, если ему так хочется дышать свободным воздухом, покинул пределы нашей Родины». Когда он это диктовал, я говорю: «Никита Сергеевич, я не могу говорить от имени Правительства!» Он мне: «Ты произнесешь, а мы поаплодируем. Все поймут». Так и случилось.

На второй день после Пленума в газетах появляется письмо Пастернака «В редакцию «Правды», в котором он отказался от Нобелевской премии.

— *А в Нобелевский комитет он отправил телеграмму: «В связи с тем, что в моей стране придают такое большое значение этой награде...»*

— Но роман-то не заслуживает тех, понимаете ли... Мы этому роману вот такими акциями создали рекламу. Собрался пленум Союза писателей — пятьсот человек. Четырнадцать выступили. И ни один не защитил... Хоть теперь некоторые и говорят: «Я бы должен был пойти, не прикидываться больным и выступить против».

Мне недавно на встрече со студентами задали вопрос: а вы почему не отказались читать этот текст? Я ответил: «Хотел бы я видеть нынешнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, когда ему Генеральный поручает (вот сейчас, в нашей обстановке), а он бы ему возразил. Как бы он, в общем, после этого работал?..»

— *Да, тогда несколько другое время было.*

— Надо умным быть Генеральным, не давать такого поручения. Но это другой вопрос. Тридцать лет прошло. И обстановка другая была, и Генеральный, и международная обстановка... Это же только-только мы провели фестиваль, публикации были против нас, и голоса всякие из-за бугра что угодно о нас говорили. Мы защищались, ершились, выставляли свои колючки, где могли, на любую, понимаете ли... правильную-неправильную фразу, но — нас не трогай. Вот, товарищи, такая обстановка была.

— *Выходит, не повезло Пастернаку, Бродскому, Галичу, Даниэлю, Синяевскому, Некрасову и многим, многим другим, что они жили в такой обстановке.*

— А что поделаешь — время... Думали, что это провокация, что это нарочно, что хотят нас унизить. И мы давай защищайся всеми правдами-неправдами.

*Из беседы с В. Е. Семичастным  
К. Светицкого и С. Соколова.—  
«Огонек», 1989, № 24*

## Борис Пастернак

### НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною шум погони.  
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,  
Ели сваленной бревно.  
Путь отрезан отовсюду,  
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,  
Я, убийца и злодей?  
Я весь мир заставил плакать  
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,  
Верю я, придет пора,  
Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра.

*1959*

*II*  
*часть*

**С Е Г О Д Н Я**

## ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «ДОКТОРА ЖИВАГО»

Прощай, размах крыла расправленный,  
Полета вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство.

Этими строками заканчивается стихотворение «Август», написанное Пастернаком в 1953 году и вошедшее в текст «Доктора Живаго». Строки — прощание с романом, работа над которым завершена...

Зимой 1917—1918 годов, закончив книгу лирических стихотворений «Сестра моя — жизнь», Пастернак стал писать то, что в автобиографическом очерке назвал так: «черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, отделанное начало которого было напечатано в виде повести «Детство Люверс». По мнению некоторых критиков, «Детство Люверс» едва ли не самое совершенное из написанного Пастернаком. Речь при этом идет не об общей значимости вещи, а о ее литературном совершенстве, выдержать уровень которого, видимо, было еще не под силу молодому писателю, что и помешало осуществить весь замысел.

После того как «Детство Люверс» было напечатано, Пастернак несколько раз брался за неоконченный роман. Попытки завершить его были неудачны, с одной стороны,

по материальным причинам: не хватало денег, и большую сосредоточенную работу приходилось прерывать ради текущего литературного заработка. С другой — пути поколения, к которому принадлежали герои романа, все время менялись, не приобретая той определенности, которая требовалась художнику для реалистического воплощения времени.

Близкий круг замыслов нашел свое выражение в стихотворном романе «Спекторский» и сюжетно примыкающей к нему прозаической «Повести» 1929 года. В них сказалось желание автора, как он писал, «вернуть истории поколение, видимо, отпавшее от нее». «Повесть» тоже была началом большого романа, продолжение работы над которым растянулось на десятилетие.

Об этом Пастернак писал 4 марта 1933 года А. М. Горькому: «Я долго не мог работать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу, и все она у меня не выходила... Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять, — пока что, можно. Но мне долго придется писать ее, не в смысле вынашивания или работы над стилем, а в отношении самой фабулы: она очень разбросанная и развивается по мере самого исполненья; дополненья все время приходится вносить промеж сказанного, они все время возвращают назад, а не прирастают к концу записанного, замысел уясняется (пока для меня самого) не в одну длину, но как-то идет в распор, поперечными складками».

Работу и в этот раз пришлось оборвать: Пастернак занялся переводами грузинской поэзии.

В 1937—1939 годах было опубликовано в общей сложности пять отрывков. Полный текст этой части романа сохранился в бумагах редактора журнала «Знамя» Все-

волода Вишневского и был напечатан в «Новом мире» в 1980 году под названием, которым автор обозначил вернувшийся к нему в 50-е годы текст, — «Начало прозы 1936 года». Трудно представить, в какой стадии находилась работа над романом в 1941 году, когда началась война.

В первые месяцы войны сундучок с рукописями Бориса Пастернака и картинами его отца, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака, был отнесен на соседнюю дачу Всеволода Иванова, где расположилась команда зенитчиков. Уезжая в эвакуацию, Пастернак не решился оставить рукописи и картины в своем пустом доме. Дача Ивановых в январе 1942 года сгорела дотла.

Часто оплакивая в письмах гибель отцовских работ, Пастернак не упоминал о сгоревших рукописях. Память надежно сохраняла художественные удачи первоначального замысла, при том, что отношение к героям романа и событиям их жизни после войны, естественно, должно было приобрести новую окраску.

Первые наброски романа относятся к зиме 1945/46 года. Летом 1946-го он начал писать его регулярно. Первоначальное название — «Мальчики и девочки». В прежних опытах героем романа был профессиональный художник близкой Пастернаку судьбы. На этот раз Пастернак решил освободить его от рамок, налагаемых художественной профессией. Впоследствии он характеризовал героя и фабулу романа так:

«Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи... которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа» («Знамя», 1954, № 4).

Первая часть была написана к зиме 1946/47 года. Чтобы понять отношение читателей к написанному, он неоднократно устраивал чтение законченных глав в разных знакомых домах, куда приглашались желающие. В числе

первых слушателей были Анна Ахматова, Константин Федин, Всеволод Иванов, Святослав Рихтер, Мария Юдина. Лидия Чуковская стенографически записала слова, которыми Пастернак предварил чтение 5 апреля 1947 года. Она ознакомила со своей записью слушателей на Первых Пастернаковских чтениях 30 мая 1987 года:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове — это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи. Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдом.

Я, так же как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, — распада, продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательская. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мечта из прозы ушла. А мне хотелось давно — и только теперь это стало удаваться — хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни, это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане — это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя.

Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке. (У Блока были поползновения гениальной прозы — отрывки, кусочки.) Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда — из Блока — идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем



понимании реалистическую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

Наступили годы крайней идеологической и административной жесткости. Пастернак видел в своей трудной работе возможность сказать то, что он думал.

Убежденный в необходимости связать воедино расходящиеся все более концы духовного уклада поколения, столько растерявшего за последние десятилетия, Пастернак сознательно отказывался от эстетических крайностей, отличавших творчество его ранних лет.

В январе 1948 года был заключен договор с «Новым миром» и получен аванс под роман, называвшийся тогда «Иннокентий Дудоров». После расторжения договора и возвращения судебным порядком аванса не оставалось никаких сомнений, что в ближайшие годы роман не увидит света. Огромная работа над переводами семи шекспировских трагедий, двух частей «Фауста», всего Бараташвили, около 70 стихотворений и поэм Петефи растягивала писание романа на годы, хотя подробности его замысла и дальнейшего хода были ясны автору в самом начале.

*Из статьи Е. Б. Пастернака «Полета вольное упорство». —  
«Новое время», 1987, № 29*

...Летом 1955 года были дописаны последние страницы эпилога.

Общественная жизнь после XX съезда позволяло надеяться на публикацию романа. Рукописи «Доктора Живаго» были разосланы в «Новый мир» и «Знамя». Московское радио объявило о скором издании романа. Вскоре представитель иностранной комиссии Союза писателей привез в гости к Пастернаку члена коммунистической партии Италии и сотрудника итальянского радиовещания в Москве С. Д'Анджело. Рукопись была передана ему для ознакомления. Официально через иностр-

раннюю комиссию Союза писателей запрашивали текст романа чешские издатели.

Однако осенью 1956 года ситуация резко изменилась. В середине сентября «Новый мир» отказался от публикации романа, обосновав свое мнение в коллективном письме, подписанном пятью членами редколлегии журнала. Эта внутренняя рецензия, написанная с позиции прописных истин 1940-х годов, во многом определила судьбу «Доктора Живаго» на тридцать лет вперед. Однако рукопись, переданная Д'Анджело для ознакомления, не вернулась, поскольку он переслал ее миланскому коммунистическому издателю Дж. Фельтринелли, который вскоре известил Пастернака, что хочет издавать роман по-итальянски и ищет переводчика.

В октябре 1956 г. директору Гослитиздата А. К. Котову было поручено готовить роман к печати. Редакторами были назначены А. В. Старостин и главный редактор издательства А. И. Пузиков. Пастернак согласился на небольшие сокращения текста в русском издании. В феврале 1957 года Гослитиздат обратился к Дж. Фельтринелли с просьбой подождать с итальянским изданием до сентября, когда книга появится в Москве. Фельтринелли ответил полным согласием.

Однако весной 1957 года подготовка романа к публикации была остановлена. Предпринимались попытки предотвратить выход романа в Милане, но Фельтринелли не хотел терпеть убытки.

На Пастернака летом 1957 года было оказано давление, с тем чтобы он потребовал от Фельтринелли возвращения рукописи, однако тот вернуть рукопись отказался.

15 ноября 1957 года «Доктор Живаго» вышел по-итальянски; за ним вскоре последовали английское, французское, немецкое, шведское и норвежское издания.

Начиная с 1946 года кандидатура Пастернака несколько раз обсуждалась в связи с присуждением Нобелевских премий по литературе. Нобелевский лауреат 1957 года —

А. Камю — в своей речи предложил дать очередную премию Пастернаку. 23 октября 1958 года было объявлено о присуждении ему премии 1958 года «За выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы». Пастернак благодарил секретаря Шведской академии телеграммой: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен». Посылая эту телеграмму, он никак не ожидал, что последующая общественная реакция будет столь негативной.

*Из статьи Е. В. Пастернак, К. М. Поливанова  
«Вторжение воли в судьбу». —  
«Литературное обозрение», 1988, № 5*

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ Б. ПАСТЕРНАКА

БОРИС ПАСТЕРНАК — ОЛЬГА ФРЕЙДЕНБЕРГ<sup>1</sup>

*Москва, 5 октября 1946*

Дорогая Оля!

⟨...⟩ С июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 гг., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути, — и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе.

Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня. Я сидел в Пере-

---

<sup>1</sup> Ольга Михайловна Фрейденберг (1890—1955) — двоюродная сестра Б. Пастернака, жившая в Ленинграде, литературовед, филолог-классик.

делкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.〈...〉

Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год. И перед возобновлением прерванной работы (я решил сегодня снова засесть за нее), мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех. 〈...〉

*Твой Б.*

*Москва, 13 октября 1946*

Дорогая Оля!

Написал тебе и в тот же день заболел ангиной, пролежал несколько дней.

Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью и, кроме того, за последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существования.

В одном отношении я постараюсь взять себя в руки,— в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского,— эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то

народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Это все так важно и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов. <...>

*Твой Боря*

*Москва, 24 января 1947*

Дорогая Оля <...>

Отчего я не пишу тебе?

Оттого, что разрываюсь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья — романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу. <...>

Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично), тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или (и тоже целиком) провалиться, — либо пан, либо пропал. <...>

*<Москва,> 1-го октября <1948>*

Олюшка моя <...>

<...> А теперь я с такой же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман, начинание совершен-

но бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности.

⟨...⟩ Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок<sup>1</sup> и не тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас. ⟨...⟩

*Москва, ⟨середина октября 1948⟩*

⟨...⟩ Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно,

---

<sup>1</sup> Имеется в виду в первую очередь разрыв отношений с Ольгой Ивинской, дружба и переписка с Ольгой Берггольц.

не очень подолгу каждый, может быть рукопись мне потом понадобится.

Наверное эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. <...> Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая, но для того, чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для печатанья), я должен заниматься переводами и следовательно работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гетевского Фауста (1-ую часть) и одного венгерского классика. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений и хочется работать как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался,— но что делать, спасибо и на том.

Но, если Вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодарение Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.

*Ваш Боря*

*Ленинград, 29.11.1948*

Дорогой мой Боря!

Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затрудненье: какое мое суждение о жизни? Это жизнь — в самом широком и великом значенье. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То,



что дышит из нее,— огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне не доступно ее определение, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги Бытия. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал, в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке — и боишься этого до смерти, так как она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу, и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое суждение не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно.

Как реализм жанра и языка, меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное *для меня*. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи — одних уж нет, а те далече — и тютчевского «на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уж не сверху, а внизу...

Много близкого, родного, совершенно своего, от семейной потребности в большом и главном, до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным (как и под боязнью смерти) разумею великое, транспонированное в частное (а не конкретные малости). Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, что только теперь..., etc. Ты — един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую

видишь всю вглубь. Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.

Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоём главном! <...>

*Твоя Оля*

*Москва, 30 ноября 1948*

Дорогая моя Олюшка!

Как поразительно ты мне написала!

Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших речательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.

Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясенье,— папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.

Часто жизнь рядом со мной бывала революционизи-

рующе, возмущающе — мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и пронизательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей<sup>1</sup>, и что-то в этом роде — ты, наше возвращение из Меррекуля летом 1911 года<sup>2</sup> (Вруда, Пудость, Тикопись), и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть я *старался*. <...>

Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла — Маяковский, — удивительно даже, что я его назвал. <...>

*Москва, 12 июля 1953*

Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это наконец я пишу тебе.

<...> Я в большей мере, чем бывало раньше, исключаю все и жертвую всем ради двух-трех задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными.

Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе (об этом и ты пишешь!), надо кончить роман и кое-что

---

<sup>1</sup> Пастернак обменялся письмами с Р. М. Рильке в апреле — мае 1926 года. Рильке скончался 29 декабря 1926 года. Паоло Яшвили и Тициан Табидзе погибли в 1937 году, один покончил с собой, другой был арестован.

<sup>2</sup> В действительности — летом 1910-го.

другое; то есть, это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие. И по какой-то предустановленности, это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача. <...>

*Москва, 7.1.1954*

Дорогая моя Олечка, сестра моя! Этим ответом на твою телеграмму я хочу предупредить тебя, хочу предотвратить ненужную с твоей стороны трату времени и душевных сил, ненужную, как говорила покойная Цветаева, растраву. <...>

Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко.

И ведь Фауст — не главное. Рядом есть вещи, перевешивающие значение работы, — роман, подведение его к концу, новые стихотворения к роману, новое состояние души. Это внутренне значит безмерно много и внешне не значит ровно ничего.

Я знаю, что много хорошего в переводе. Но как мне рассказать тебе, что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность<sup>1</sup>. Но и это не главное. <...>

---

<sup>1</sup> Имеется в виду арест О. Ивинской 9 октября 1949 года.

*Москва, 16.4.1954*

Дорогая Оля! <...> Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя»<sup>1</sup> (тут он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных, — все новое. Тебе приятно будет увидеть в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе» которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им! Без конца тебя целую, радость моя. <...>

*Ленинград, 4.11.1954*

Дорогой Боря!

У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию<sup>2</sup>. Правда ли это? Иначе — откуда именно такой слух?

Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать?

Жду с нетерпением твоей открытки.

Будь здоров!

*Твоя Оля*

---

<sup>1</sup> Публикация 10 стихотворений из «Доктора Живаго» в «Знамени» (1954, № 4) вызвала отрицательные отклики в печати. К. Зелинский и К. Симонов писали, что в этих стихах Пастернак сузил свой кругозор в понимании людей и времени.

<sup>2</sup> Как сообщает секретарь Шведской академии Ларс Гилленстен, Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию семь раз, начиная с 1946 года. Премия была присуждена ему в 1958 году.

*Москва, 12.11.1954*

Дорогая моя Олюшка!

(...) Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. «Бедный Боря, — подумаешь ты, — какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!»

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, бог миловал, эта опасность миновала.

Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали. Так рассказывают.

Потом люди слышали по Би-би-си, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор

еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение.

Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем.

Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течение часов моей простой, безымянной, никому неведомой трудовой жизни.

Есть ангел хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему.

Крепко целую тебя, золото мое.

*Твой Боря*

Р. С. Прости меня за явную для тебя торопливость тона. Чувство чего-то нависающего, какой-то предопределенной неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошающего смятения, но все время поторапливая меня и держа все время начеку.

Я хорошо работаю. <...>

*Публикация и примечания Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернака, Н. В. Брагинской («Дружба народов», 1988, № 9—10)*

#### **БОРИС ПАСТЕРНАК — АРИАДНА ЭФРОН<sup>1</sup>**

*10 окт. 1948*

Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись<sup>2</sup> прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой

---

<sup>1</sup> Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975) — дочь Марины Цветаевой — в 1939 году была арестована и осуждена на восемь лет. Письмо о «Докторе Живаго» написано ею в Рязани, где она, отбыв полный лагерный срок, ненадолго получила возможность жить и работать. В феврале 1949 года она была вновь арестована.

<sup>2</sup> Главы романа «Доктор Живаго».

тезки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. <...>

*Твой Б.*

28.11.48

Дорогой Борис! <...>

Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, как тот Людовик с тем епископом.

Почему так? Желание сказать главное о главном («Живое о живом», как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном — просто? Но вот эта-то «простота» и усложняет все настолько, что приходится проделывать весь твой путь à rebours<sup>1</sup>, восстанавливая отброшенное тобой.

Получается концентрат — судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель — т. е. в данном случае говорю только от своего имени! — вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что ты «упростил». Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня,

---

<sup>1</sup> В обратном порядке (франц.).



и Павел, все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют *détente*<sup>1</sup>, они не говорят глупостей и не шутят — как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления постепенности их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям. <...>

О Ларе: в нее не то что веришь, как в писательскую удачу, не то что она правдоподобна, она е с т ь, вот сейчас есть, вот сейчас живет. И поэтому когда я пишу тебе о ней, то не как о героине, а как о живом человеке, чья судьба зависит только от тебя одного. Дай же ей все 365 дней в году, а не только дни больших событий и переживаний! Дай ей самой дойти до выстрела в Комаровского, а не замений ее несколькими страничками нарочито сухой скороговорки: «...жизнь опротивела Ларе». «...Она стала сходиться с ума». «...Ее тянуло бросить все знакомое». «...с намерением стрелять в В. И., если он ей откажет, превратно поймет, или как-нибудь унизит». Ведь не столько, пожалуй, важно действие, сколько то, что к нему готовится, делает его неизбежным. В данном же случае неизбежности выстрела нет, и не потому, что без него можно было бы обойтись (нельзя, Лара не может иначе!), а оттого, что в самом ответственном, в нарастании события ты заменил Лару, рассказал за нее своими (да и вовсе на этот раз не своими) словами, отчитался несколькими фразами за несколько мучительнейших, ответственнейших лет, за весь инкубационный период, пока она вынашивала в себе этот не только не грянувший, но еще не дошедший до ее сознания и уже неизбежный выстрел.

Теперь — вот этот выстрел — освободил ли он Лару от Комаровского, убила ли она им Комаровского в себе?

Если да, то Комаровский не должен, не может появиться-

<sup>1</sup> Расслабление (франц.).

ся на Лариной свадьбе. Это — худшее, невозможнейшее из его, законом не наказуемых, — преступлений, и по отношению к Ларе, и по отношению к Паше, и по отношению к хору гостей, это — дикая бестактность. Да и по отношению к нему самому. Этот тип подлеца-джентльмена может позволить себе грубость — но не бестактность. И нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах он не может, по собственному желанию и почину, выступить в роли побежденного, чуть ли не в комической роли. Его «молодые друзья» могут быть для него всем чем угодно, только не друзьями. Паша простить не мог, Лара — Лара могла вычеркнуть из жизни, но — но, если бы он появился еще раз. Бог знает, какой зверек зашевелился бы в ее сердце, не мог бы не зашевелиться. И она все что угодно, но только не «громко и невнимательно отозвалась», «...совершенно забыв, с кем и о чем она говорит...»

Потом, знаешь что, мне бы ужасно хотелось узнать, как Лариса у в и д е л а Комаровского тогда, там, на елке. «...Останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее...» Это ведь все уже после того, как она увидела, узнала его, такого знакомого и чужого в толпе гостей. После многих лет. И уже после этого взгляда и узнавания его она останавливалась и мялась на пороге. Это может быть и мелочь, но она-то мне очень нужна!

Скажи, как могло получиться, что эта, так глубоко и сильно чувствующая женщина могла не почувствовать юртинского Павла? Сам факт его решения мог оказаться для нее неожиданностью, но не коренная в нем перемена, вызвавшая это решение. Ведь не было же ее отношение к нему настолько поверхностным, чтобы она могла настолько все пропустить, прозевать? И если он так все чувствовал, то как же она, женщина, да еще такая женщина, да еще виновница всего, не почувствовала, что он чувствует? Опять эта теснота, эта инопланетность, не дающая развиваться инкубационному периоду, приводящая

нас непосредственно к следующему поступку, следующей вспышке, следующему перелому жизни и судеб. <...>

И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в середине отношений, не отмершего и умершего. В таких случаях расстояние и недостижимость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится». Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмешь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая, как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днем «развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах», а ночи — не спать. И чувство ее к ребенку должно было сделаться более смятенным, а не то что «пристроить дочь у Липочки», и в дальнейшем — «бедная сиротка» (кстати, не Лариного обихода эти слова. Так могла бы говорить мадам Гишар, но не ее дочь!).

Вообще с детьми у тебя какая-то неувязка. Где же ребенок Юры и Тони? После замечательно переданных родов Тони (там, где ты так хорошо сравнил ее с баркой) мальчик совершенно пропадает. И — никаких следов какого бы то ни было материнства и отцовства. Когда Юрий Андреевич встречается с Гордоном на фронте, то ни единым словом не вспоминает не только о сыне, но и о жене. Почему? И без слов тоже не вспоминает. Правда, прекрасно возникает в его памяти Тоня там, в госпитале, когда появляется Лара, но возникает таким далеким воспоминанием, как если бы между ними уже все было кончено раньше, давным-давно, хотя об этом ничего не было сказано, хотя это только может быть в дальнейшем. И по-

следние придирки: куда ты запропастил Николая Николаевича Веденяпина, возведенного тобою в число значительнейших и потом как в воду канувшего, где мать и брат Лары, где чудесно набросанная и не менее чудесно брошенная Оля Демина? Мать Лары и Родя не могли не возникать время от времени в жизни Лары, пусть чуждые, пусть докучные, но — никуда не денешься, р о д н ы е! Ни свадьба Лары, ни рождение ребенка, ни отъезд в Юрятин не могли обойтись без какого-то, хоть на расстоянии, участия Амалии Карловны. Еще более беспомощная и нелепая, постаревшая мать не может не вызывать во взрослой Ларе, Ларе-матери, чувства если не любви, то хоть дочерней жалости.

<...> И еще одно: очень хочется, чтобы как-то были отмечены годы ученичества, студенчества. Узнать, как сочетались страсти с экзаменами, отметками, классами, внутренние бури с внешней дисциплиной. Упоминания о том, что Лара ходила в коричневом платье и была участницей невинных школьных проказ, и взрыва ветра при высадке Наполеона во Фрежюсе мало, мало, мало!

Прости меня за эти придирки, Борис дорогой. Они, может быть, страшно мелочны, но дело в том, что я настолько поклоняюсь твоему всемогущему богу деталей, так люблю в тебе, в творчестве твоём это сочетание подробного письма и широкого размаха, того твоего простора, в котором сплетаются, расплетаются и разрубаются узлы человеческих судеб, что просто злиться начинаю, когда ты начинаешь заниматься самоукрощением и самоуплотнением и делаешься вдруг не по-своему скупым.

О, какого простора требует эта книга, как она вопиет о нем, и как ты можешь и должен распространить все это, чтобы был воздух, а не кислородные подушки. Не говори мне о том, что, мол, знаешь, что делаешь, и делаешь то, что знаешь, поверь мне, что и я (без хвастовства и назойливости) тоже неплохо знаю, что ты делаешь и чего хочешь и что должен делать и чего должен хотеть. Пусть это не

прозвучит нахально, но, честное слово, это так! И я все это принимаю так близко к сердцу и так горячусь лишь потому, что с первых строк и до последних я полюбила эту книгу и хочу, чтобы ей было лучше.

Она (за исключением «тесноты» главным образом между картинками и изредка внутри них) очень чиста, ясна и проста. В этом ее огромная сила, ее преимущество над многим, написанным тобою. Причем говорю о ясности и простоте не только в смысле «понятности», а о той особой *limpidité*<sup>1</sup>, которая вообще присуща твоему творчеству и которая здесь достигает совершенства. Великолепен язык всех героев. При очень большой населенности книги — лишних людей в ней нет. <...>

Всегда — и на этот раз — почти пугает твое мастерство в определении неопределимого — вкуса, цвета, запаха, вызываемых ими ощущений, настроений, воспоминаний, и это в то время, как мы бы дали голову на отсечение в том, что слов для этого нет, еще не найдены или уже утрачены. <...>

Борис, замечателен тот пятичасовой скорый, тот «чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием», надвигающийся вскоре на нас крупным планом, со всем своим грузом жизней и судеб, из которых одна обрывается на наших глазах, и мы идем, вслед за Тиверзинными, посмотреть на самоубийцу.

Как послушны тебе, как никогда не нарочиты все совпадения и переклички, в которых ты силен, как сама жизнь. Ужасно люблю тебя хотя бы за... «свой рост и положение в постели Лара ощущала... выступом левого плеча»... и ее сном, где «не велят Маше за реченьку ходить», когда те же самые «рост и положение» в одном случае являют собой ощущение физического и морального здоровья и равновесия, а в другом — смерть, тлен, плен и не велят Маше за реченьку ходить! <...>

---

<sup>1</sup> Прозрачность, ясность (*франц.*).

Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами.

Еще маленькой я думала: куда же уходит прошлое? Как же это — было и нет, и не будет больше, а было, было ведь, была же другая такая девочка, как я, которая сидела на этой же земле и вопрошала это же небо: а где же то, что было? где та, другая девочка, которая так же была и так же искала вчерашнего дня? И так до сотворения мира.

Те же самые земля и небо связывают нас с ними и свяжут нас с будущим, когда мы станем прошлым.

Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, — не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом.

Ты стал сильнее и строже, яснее и мудрее.

Спасибо тебе.

Не сердись на мои придирки, пойми мое желание большего простора, большей воли для тех, кого я узнала, кого я вспомнила и полюбила благодаря тебе. <...>

*Твоя Аля*

*«Знамя», 1988, № 7*

## **БОРИС ПАСТЕРНАК — НИНА ТАБИДЗЕ<sup>1</sup>**

*24 января 1946 г.*

Дорогая Нина! Ну что нового о Тициане? Вы, наверное, удивлены, что я не пишу Вам! Вы не представляете себе, в какой спешке и каком напряжении пишу я сейчас роман

---

<sup>1</sup> Нина Александровна Табидзе (1900—1965) — вдова погибшего в 1937 году поэта Тициана Табидзе.

в прозе, который мог бы быть, если удастся, достоин перенесения на *его* бумагу<sup>1</sup> и который мысленно, с самого возникновения был посвящен Тициану (и я только не знал, имею ли я право написать: «Тициану Табидзе» или должен написать «Памяти Тициана Табидзе»).

⟨...⟩ Ну теперь, вероятно, надо вооружиться терпением<sup>2</sup>. Это то, чего мне недоставало в самые счастливые мои минуты последних лет, и это все, что мне нужно от жизни. Мне стыдно признаться, что безмерную эту радость я тут же поспешил истолковать практически, как небесное знамение или благословение моей новой работы на Тициановой бумаге<sup>3</sup>. Подумайте, как мелко и утилитарно! ⟨...⟩

*Весь Ваш Боря*

*4 декабря 1946 г.*

Дорогая моя Ниночка!

⟨...⟩ Прозу я начал ведь писать с Вашей легкой руки, т. е. толчком к ней послужила подаренная Вами Тицианова бумага. Потом я решил, что бумага слишком хороша для такой пачкотни, и перенес работу, вместе с ощущением этой благородной желтизны слоновой кости, согревшей мою выдумку, на другой, более простой сорт бумаги (как часто бывает с воздержанием, когда, например, Вы отказываетесь от лакомства, и мысль о лакомстве в фантазии становится равносильна двойному лакомству). Одним словом, Тицианова бумага определила мой новый стиль, и Вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор.

---

<sup>1</sup> В 1945 году в Тбилиси Пастернак получил в подарок от Н. А. Табидзе бумагу, оставшуюся у нее после ареста Тициана Табидзе.

<sup>2</sup> До Пастернака дошло ложное известие о письме, полученном от Тициана Табидзе, появились надежды на его освобождение (в действительности Табидзе погиб в 1937 году, но родственникам был сообщен приговор: «десять лет без права переписки»).

<sup>3</sup> Речь идет о работе над романом «Доктор Живаго».

⟨...⟩ Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весной, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал (как знаю и сейчас), где моя правда и что божьему промыслу надо от меня,— мне казалось, что все это можно претворить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. ⟨...⟩ С еще большим подъемом я два месяца проработал над романом, по-новому, с чувством какой-то первичности, как, может быть, было только в начале моего поприща. Осенние события внешне замедлили и временно приостановили работу (все время денег приходится добиваться как милостыни), но теперь я ее возобновил. Ах Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как попоранной сказки. ⟨...⟩

*10 декабря 1955 г.*

Дорогая Нина, любимый друг мой! ⟨...⟩

Не могу сказать Вам, сколько труда я положил на постепенную, медленную отделку второй книги романа. Когда летом я сказал, что кончил его и описывал Вам его конец, дело, собственно, шло только о грубой записи содержания, еще не приведенного в окончательную художественную форму. В глубине души я и не надеялся, что буду в силах подвергнуть новой переработке это необозримое множество страниц (450 машинописных), уже стоивших мне столько времени, труда и души.

И вот это незаметно произошло само собой в течение последних двух-трех месяцев особенно благодаря одной знакомой, М. К. Баранович, которая, несмотря на мое запрещение, перепечатала рукопись на машинке и этим наполовину облегчила мне возню с ней<sup>1</sup>. А я так мало, повто-

---

<sup>1</sup> Летом 1955 года Пастернак переписал начисто последние главы и эпилог романа. М. К. Баранович перепечатала заново всю вторую книгу романа, и осенью Пастернак внес в нее последнюю правку: в декабре 1955 года была сделана перепечатка с этой окончательной правкой.



ряю, надеялся на осуществимость этой вторичной переработки, что летом меня томил и интересовал вопрос, простят ли мне, во внимание к имени, к прошлому и, главное, к серьезности и глубине содержания, тяжеловесность, неряшливость и растянутость изложения. И вот это сделано. Мне трудно в это поверить, и я сам не знаю, как это случилось. Но еще, наверно, до середины января я еще буду занят доделкою последних мелочей.

Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз, освеженно, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти.

Я мог бы быть счастливым, в самом узком моем кругу все очень хорошо и действительно, даже и в грусти я бываю полон ликования, пока остаюсь в относительном одиночестве.

Но сейчас так много кругом поводов и желаний нарушений его, вовлечь меня в общую деятельность!<sup>1</sup> И тогда для меня начинаются несчастья. Так мало общего между мною и людьми, которые чтут или любят меня и считают меня своим то по времени, то по общему призванию, то еще по чему-нибудь!

Так я хочу совсем другого, чем они, и безмерно боль-

---

<sup>1</sup> В эти годы Пастернак начал получать постоянные приглашения участвовать в литературных альманахах «День поэзии», «Литературная Москва» и т. д. В. А. Каверин описывает в своих воспоминаниях, как он с Э. Г. Казакевичем приехал к Пастернаку с предложением дать что-либо в 3-й альманах «Литературная Москва». Казакевич так объяснил ему причину незаинтересованности Пастернака в их предложении: «Литературная Москва» — для него компромисс. Ему хочется, чтобы завтра же была объявлена свобода печати» («Знамя», 1987, № 8, с. 114).

шего, так мало хотят они, так не умеют сильно и много хотеть. И каждый раз при столкновении с ними я начинаю чувствовать себя неблагодарным, отступником, предателем, плохим братом, плохим другом, плохим товарищем. О как бы я хотел сохранять замкнутость, чтобы мне ни о чем этом не напоминали! <...>

*21 августа 1957 г.*

Дорогая Нина <...>

Здесь было несколько очень странных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах мне недоступных. Видимо, Х<рущев>у показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу), случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут также с большим раздражением. Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум. Как всегда, первые удары приняла на себя О<льга> В<севолодовна><sup>1</sup>. Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О<льга> В<севолодовна> и Ан. Вас. Ст<аростин><sup>2</sup>, пришедшие в ужас от речей и атмосферы (которым не дали говорить), и на котором Сур-

---

<sup>1</sup> Ольга Всеволодовна Ивинская описывает эти события в своей книге «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком» (Paris, 1978).

<sup>2</sup> Анатолий Васильевич Старостин (1918—1981) — редактор Гослитиздата.

ков читал вслух (с чувством и очень хорошо, говорят) целые главы из поэмы<sup>1</sup>.

На другой день О〈льга〉 В〈севолодовна〉 устроила мне разговор с Поликарповым<sup>2</sup> в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра.

«Люди нравственно разборчивые никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

П〈оликарпов〉 сказал, что он сожалеет, что прочел такое письмо, и просил О〈льгу〉 В〈севолодовну〉 разорвать его на его глазах.

Потом с П〈оликарповым〉 говорил я, а вчера, на другой день после этого разговора, разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, то есть передоверить переговоры с Ф〈ельтринелли〉 Гослитиздату и отправить просьбу о возвращении рукописи для переработки. Я это сделаю, но, во-первых, преувеличивают вредное значение появления романа в Европе. Наоборот, наши друзья считают, что на-

---

<sup>1</sup> Поэма Пастернака «Высокая болезнь».

<sup>2</sup> Дмитрий Алексеевич Поликарпов — в 1940-х годах оргсекретарь Союза писателей; в это время секретарь МГК КПСС.

печатание первого нетенденциозного русского патриотического произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большему сближению и углубило бы взаимопонимание... Во-вторых, вместо утихомиривающего влияния эти внезапные просьбы с моей стороны вызовут обратное действие, подозрение в применении ко мне принуждений и т. д., из меня сделают нечто вроде Зоценки, скандал совсем иного рода и пр. и пр. Наконец, в-третьих, никакие просьбы или требования в той юридической форме, какие сейчас тут задумывают, не имеют никакого действия и законной силы и ни к чему не приведут кроме того, что в будущем году, когда то тут, то там начнут появляться эти книги, это будет вызывать очередные взрывы бешенства по отношению ко мне и неизвестно, чем это кончится.

За эти несколько дней, как бывало в таких случаях и раньше, я испытал счастливое и поднимающее чувство спокойствия и внутренней правоты и ловил кругом взгляды, полные ужаса и обожания. Я также при этом испытании натолкнулся на вещи, о которых раньше не имел понятия, на свидетельства и доказательства того, что на долю мне выпало счастье жить большой значительной жизнью, *в главном существе даже неизвестной мне.*

Ничего не потеряно, я незаслуженно, во много раз больше, чем мною сделано, вознагражден со всех сторон света. <...>

*Б. Л. Пастернак — Т. Т. и Н. А. Табидзе*

*19 марта 1959 г.*

Дорогая Нита<sup>1</sup> <...>

Я здоров (как и все у нас), и те личные огорчения и страдания, которых я опасался по возвращении, места не

---

<sup>1</sup> Танит Табидзе — дочь Тациана и Нины Табидзе.

имели, слава Богу<sup>1</sup>. Но вот что сделайте, вот чего добейтесь, Нита, для меня. Убедите, пожалуйста, маму, чтобы она не связывала с помещением моих прежних переводов судьбы новых папиных изданий<sup>2</sup>. Улучшения в этом вопросе никогда не будет. Маме надо примириться с выпадением этих нескольких вещей или согласиться на то, чтобы их дали в чьей-нибудь другой передаче. Всякий ведь поймет вынужденность этой меры.

Смягчения моего положения ждать неоткуда. Меня в лучшем случае окружат экономической блокадой, как Зоценку. От меня требуется просьба об обратном принятии в ССП, неизбежно заключающая отречение от моей книги. А этого никогда не будет. <...>

*Публикация и примечания  
Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова*

*(«Литературное обозрение», 1988, № 5)*

---

<sup>1</sup> 11 февраля 1959 года в газете «Дейли Мейл» было опубликовано в английском переводе стихотворение Пастернака «Нобелевская премия». После этого Пастернак был вызван к генеральному прокурору Р. А. Руденко (1907—1981), и ему было предъявлено обвинение по 64-й статье Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине). После этого от Пастернака потребовали, чтобы он уехал из Переделкина на период визита в Москву премьер-министра Англии Г. Макмиллана. Пастернак был вынужден отправиться в Тбилиси, где пробыл с 20 февраля по 6 марта.

<sup>2</sup> Н. А. Табидзе в это время готовила сборник «Стихотворения» Т. Табидзе, который вышел в Москве в 1960 году (сдан в производство в январе 1960 г.). Переводы Пастернака были в него включены, однако Пастернак имел основания сомневаться в возможности их публикации (его переводы были исключены из издававшегося собрания сочинений У. Шекспира; «Мария Стюарт» шла во МХАТе без указания фамилии переводчика и т. д.).

⟨Январь 1954 г.⟩

Дорогой Борис Леонидович.

Я не знаю только, как мне писать. То, что пишется, это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе.

Я прочел Ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш ненапечатанный, неконченный роман, да еще получаемый в рукописи от Вас самих. ⟨...⟩

Видите ли, Б. Л., я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то первовосхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад печатал — рассказы плохие. ⟨...⟩

Я понял, что писателя делает поэтический напор почувствовать впечатление, как будто слова спасаются от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, и вырываются, выбегают на бумагу.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто тревожащее Вас требует выхода на бумагу, требует записи и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, они в сущности своей то же самое, что стихи. Остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов, слишком много, — для того, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть

в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений. Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского.

«Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами, словарем. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою — или побежденный, или согласиться, пойти за ними, или их дополнить — я говорю с его героями как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до архитектуры романа. Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как бедный читатель лицом к лицу с его мыслями и чувствами — без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему нет мне дела — роман ли «Д. Ж.», или картины полувекового обихода, или еще что. Там много таких мыслей (высказанных Веденяпиным, Ларой, самим Живаго), о которых мне хочется думать, и все это отдельно от романа живет во мне, и душевная тревога, поднятая этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет *думающих героев*? Мне кажется, это потому, что нет *думающих авторов*. Это в лучшем случае.

К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью. <...>

По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», есть уже такой роман на русском языке. Только автор его, хотя

и много написал разных статей о родине, — вовсе не русский писатель. Проблемность, вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» или «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно удивляться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?

Но уж лучше по порядку, от страницы к странице.

Великолепен рыдающий мальчик на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование.

Сейчас отвыкли от такой прозы, весомой, требующей внимания. — Это я не о мальчике, а обо всем романе.

Никем вслух не уважается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, может быть, лучшими умами человечества и гениальными художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью — всеми этими апостолами и позднее таким писателем, как Иоанн Златоуст, умевшим управлять всеми тайнами человеческой души вперед на тысячелетия. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб и богослужения Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие. Толстой понимал всеконечность Христа хорошо, стремясь со своей страшной силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер?

И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства?

И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу. Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всемогущей, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.



А как же быть мне, выдавшему богослужения на снегу, без риз, среди тысячелетних лиственниц, с наугад расстиганным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими на таежное богослужение.

Об истории, как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти, — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образом писателя, как такового, более совершенным, чем Толстой, хотя, может быть, и не таким великим, всеобъемлющим. <...>

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет, нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман развернулась подлинная героиня первой половины картин — во всем своем обаянии (только отчасти — тургеневско-достоевском) — чистейшая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, — Лара Гишар. Очень Вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь никаких комаровских не очернит и не запачкает. Я таких Лар, ну не таких, а поменьше, помельче, знавал. Она живая в романе. Она знает что-то более высокое, чем все другие героини романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться (хотя бы и хотела).

Имя Вы ей дали очень хорошее — это лучшее русское женское имя. Это имя женщин русской горестной судьбы — имя Бесприданницы, героини удивительной пьесы, необычайной для Островского, и в то же время имя женщины, героини моей юности, женщины, в которую я по-мальчишески был влюблен без памяти, и эта влюбленность очищала, поднимала меня — если можно влюбиться, раза два издав ее издали на улицах, сотни раз перечитывая

каждую строку, которую она написала, и видеть, как ее в гробу выносят из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел силы идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми давно из всех библиотек, не ее биографией, короткой, блестящей и стремительной, — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне, противу всяких естественных законов. Вы-то знали ее, Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения нежности и чистоты. <...> И даже в воспоминании о мерзком она «шагает, словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила». <...>

Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям. <...>

Теперь подойдем к вопросу, который мучает меня, который так дисгармоничен книге, который наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, плотно увязанными с настроениями героев, с единством «нравственного и физического мира», наиболее блестящим образом достигнутого, осуществленного в романе, представляет собой грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление и от которого мне больно за Вас, художника.

Я говорю о языке простого народа в Вашем романе.

Именно о языке, а не психологическом оправдании поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно — рабочий ли это, крестьянин ли, или городская прислуга. Кроме того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть, даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения. Ваш народный язык — это лубок, не больше. Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонациями за счет пересыпа-

ния речи матерщиной, а без нее он не представляет никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных широко известных, язык городской прислуги скуден, но в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок. <...>

Может быть, лучшее место книги это кусок о Риме и Христе — дневник Веденяпина. Я переписал себе этот чудесный кусок и, может быть, его выучу. <...>

В христианстве все дело в пришествии, в перемещении в быт.

Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно. <...>

Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь. То искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает, — как это чудесно верно. И как это мало понято. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни. <...>

Хорошо и это: «Фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку». <...>

И еще раз с силой поставлены вопросы еврейства — в которых ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого. <...>

Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указаниям критики напечатанный роман<sup>1</sup>, то, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза. <...>

«Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Это формула верная и точная. <...>

Очень хороши слова о второй революции — личной для каждого, весь этот кусок вообще. И только Лариса ее невесомым взглядом, Лариса, своей внутренней жизнью

---

<sup>1</sup> Речь о романе «Молодая гвардия».

богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это — роман о Ларисе. <...>

...И деревня, деревня, которая в революцию увидела возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, не верящей городу и мечтающей о собственной изысканной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае миссионеров-врачей, миссионеров-инженеров. <...>

Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, мятое — глаженным. Очень важно показывает автор и подчеркивает Стрельников, чтоб читатель не забыл, что Галиулин, командующий белыми частями, более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны рассуждения о беспринципности сердца, о даре нечаянности.

Мне кажется, высший принцип морали — это как раз и есть эта беспринципность сердца.

Я все поддакивал и хватился сейчас: не обманываю ли я сам себя, не заставил ли *роман* меня думать, что я все это чувствовал раньше, хотя данное ощущение явилось только что данным чужими словами. Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не так полным, не так ярко и законченно выраженным.

Россия — половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего *человеческого* в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.

Живы фигуры первого плана: Лара, Живаго, Тоня. Из фигур второго плана — Комаровский. Уже Веденяпин, как он ни важен для романа, много бледней, как и Громеко.

Роман не кончен. Зачем же все же Евграф?

Для выздоровления, как призрак смерти? <...>

Не знаю, как будет встречен роман официальной критикой. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман этот надолго, надолго будет большим событием. Здесь с силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои трагического нашего времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе и кисть его использовала тончайшие краски для того, чтобы с помощью их раскрыть душевное состояние человека.

Здесь набросана картина предчувствованного Гоголем «мира в дороге», российского половодья времен гражданской войны, «России в вагонах», мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Я еще раз возвращусь к похвалам весны, весеннего разлива. <...>

О всем ведь не напишешь в такой короткой записке. Хотелось бы о Блоке, о еврействе, о вопросе, в котором все не просто, а тем не менее вопрос для любого человека — один из главных, из основных. Семья, в которой я рос в российской провинции, отец, водивший меня, мальчика, в синагогу, говоривший: смотри — вот храм, где люди нашли бога раньше нас. Истина — это желание истины. И что-то в этом роде.

Это — попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам и ее генеральным идеям. Это попытка ответить на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас и за границей, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.

Еще два таких романа, и русская литература — спасена. <...>

Самыми слабыми художественно и порочными идейно (не с официальных позиций, конечно, а по большому су-

шеству искусства) являются страницы показа забастовки, вообще портреты людей из рабочего класса. Конечно, не наивные «Журбины» могут тут служить примером, и не горьковский Павел.

Но и Ваши портреты — не верны. Они не принижают, а как-то проходят мимо. <...>

В чем роман поистине замечателен и уникален для всей русской литературы — в том самом качестве, которым дышит и «Детство Люверс» и несравненные Ваши стихи, — это в необыкновенной тонкости изображения природы и не просто изображения природы, а того единства нравственного и физического мира, единственного умения связать то и другое в одно, и не связать, а срастить так, что природа живет вместе и в тон душевным движениям героев. Пользуются этой штукой, как контрастом, противопоставлением. Иногда это удается. Тонкость тут необходима затем, что ведь нет у Вас самодовлеющих оттенков природы, вмонтированных куда-то более или менее подходяще. Идет жизнь героев, сюжет романа развивается вместе с природой, и природа — сама часть сюжета. Я не очень правильно владею терминологией, но Вы меня поймете. <...>

27 окт. 1954

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Никогда Вас не забываю. Ничем не могу Вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приближенности я дописал его еще в ноябре прошлого года. Но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели.

Еще недавно я не мог нахвалиться самочувствием, трудолюбием, настроением. Сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, я отвечаю Вам.

Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее.

Я сам желал встречи с Вами и легко назначал их Вам, когда мог сойтись с Вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тону, погрязая в начатом, неоконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опускаются. И не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг. <...>

Все-таки случай со «Знаменем»<sup>1</sup> был хорошим просветом. Можно было временно надеяться, обольщаться не на свой собственный счет — на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этим возможностям. Не оценил. <...>

*Ваш Б. П.*

*22 дек. 1955*

Дорогой друг мой! Спасибо за скорый ответ. Страшно второпях мне пришла безумная мысль послать Вам конец романа на спешное прочтение, до отдачи в дальнейшую переписку, недели на полторы — на две, до первых чисел января. <...>

Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум-трем словам все угадаю.

Но вот условие. Если Вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе и Вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся Вам родными в нем и понравятся.

---

<sup>1</sup> См. первое примечание на с. 136.

Я совершенно был согласен с Вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляют лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться.

Дорогой, дорогой мой! То, что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот, у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу как все, что мне нельзя, что я не вправе.

Сейчас большой поворот в сторону «левого искусства», «опальных имен» и пр. Конечно, я не составляю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может, и только в том разница, в каком виде ее подают, горячем или холодном, с молоком или маслом. Того, что можно думать совсем о другом и совсем по-другому, нет и в допущении. Конечно, я от всего отказываюсь и еще более одинок, чем прежде. Пожалейте меня. Прочтите, прочтите роман. Неважно, что Вы забыли предшествующее. Это несущественно. <...>

*Любящий Вас Б. П.*

*Туркмен., 8 января 1956 г.*

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за чудесный новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока Вы есть — простите уж мне эту сентиментальность.

Теперь — к делу. Лучшее во второй книге «Д. Ж.» это, бесспорно, — суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью, — это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде все



это — суждения самого Юрия Живаго, но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рупор. Голосом автора говорят все герои — люди и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых, в таких непривычно верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет не дождется честного слова о себе. Целые главы: «Варыкино», «Против дома с фигурами», «Рябина в сахаре», Лариса у гроба — очень, очень хороши суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно — т. е. понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. — Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны, оглядываясь — из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными. Все, что Живаго успел сказать, — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало по сравнению с тем, что он мог бы сказать.

В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и белогвардейца. И многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.

Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части, — на великой высоте. Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листья в солнечных лучах, скрывающие человека, — все, все.

Пейзаж Толстого — безразличен к герою, описание его самодовлеющее: репейник в «Хаджи-Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения» — это символы или своеобразные эпитафии, а не ткань вещи.

У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства, как некоего самостоятельного начала, входящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии, как едином Поэте. Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).

Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж — внешнее, подчеркивающее внутренний мир героя — эмоциональное постижение этого внутреннего мира.

О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт, его житейское, каждый платит как бы свой долг, род штрафа за то, что человек не удержал в себе того, что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятков, и Стрельников, и Ливерий, и, конечно и в первую очередь и это совершенно естественно, — женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена — Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и — нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины — показана очень хорошо. О Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе — под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше, — не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто — горька судьба. Но, верно, так и надо.

Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных

героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия, доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен, где-то на каторге. Как добывается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации. <...>

Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно — так это и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.

Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовиться к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да, наверно, так оно и есть.

«Лубок» ощутим почему-то меньше во 2-й книге, хотя Вы и предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вах не притит дела.

Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения», например, о подготовке героизма, проявленного в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? <...> Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет, — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная

казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода, — аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что, как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!) 2 командира с вынуженными револьверами) приезжают представители политотдела, СМЕРШ полка, роты — человек 8 в общей сложности. <...>

Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет, — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название гл. управления. Прямоугольник арестантов лицами наружу — не бывает, так как это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Переключек там действительно много — раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме. <...>

Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?

Все это — случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. <...> На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтоб Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отменном, чем окрашен почти 20-летний период — пятилеток, больших строек, т. н. «дерзаний» и «достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не

было без арестантов — людей, жизнь которых — непрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он — человек. <...>

*Ваш В. Шаламов*

*11 августа 1956 г.*

Дорогой Борис Леонидович.

Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.

Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени, что никакой соблазн, очередная приманка не обманут Вас.

Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.

Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые, по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене, — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что, имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение

вопроса о чести России, вопроса о том — что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустота, никчемное дело. Вы — честь времени, Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.

Я благословляю Вас. Я горжусь прямою Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни<sup>1</sup>. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покрывив душой. Но Вы не захотели этого сделать.

Да благословит Вас Бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения.

*Ваш всегда В. Шаламов*

*Публикация И. Сирогинской  
(«Юность», 1988, № 10)*

---

<sup>1</sup> 30 июня 1956 года, отвечая миланскому издателю Дж. Фельтринелли, Пастернак писал, что будет рад, если его роман появится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и Вы ее опередите, ситуация будет для меня трагически трудной» (см. «Новый мир», 1988, № 6, с. 245—246).

Д. С. Лихачев

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
НАД РОМАНОМ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Не перестаю удивляться, читая и перечитывая «Доктора Живаго». Если бы роман был написан в совершенно иной, новаторской манере, он был бы более понятен. Но роман Пастернака, его форма, его язык кажутся привычными, устоявшимися, принадлежащими к традициям русской романной прозы XIX века. Эта близость «Доктора Живаго» в каких-то своих элементах классической форме романа заставляет нас постоянно сбиваться на проторенную колею, искать в нем то, чего нет, а то, что есть, толковать традиционно: искать прямых оценок событий, видеть прозаическое, а не поэтическое отношение к действительности, находить за описаниями бедствий осуждение чего-то, их породившего.

А между тем «Доктор Живаго» даже не роман. Перед нами род автобиографии — автобиографии, в которой удивительным образом отсутствуют внешние факты, совпадающие с реальной жизнью автора. Центральный образ романа — доктор Юрий Андреевич Живаго, воспринимаемый в привычных требованиях, предъявляемых к романам, кажется бледным, невыразительным, а его стихотворения, приложенные к произведению, — неоправданным довеском, как бы не по делу и искусственным. И тем не менее автор (Пастернак) пишет о самом себе, но пишет как о по-

стороннем, он придумывает себе судьбу, в которой можно было бы наиболее полно раскрыть перед читателем свою внутреннюю жизнь. Реальная биография Бориса Леонидовича не давала ему возможности высказать до конца всю тяжесть своего положения между двумя лагерями в революции, что так замечательно показано им в сцене сражения между партизанами и белыми. И ведь все-таки он, то есть герой произведения, доктор Живаго, — лицо юридически нейтральное, тем не менее вовлеченное в сражение на стороне красных. Он ранит и даже, кажется ему, убивает одного из юнцов гимназистов, а затем находит и у этого юнца и у убитого партизана один и тот же псалом, зашитый в ладанках, — 90-й, по представлениям того времени оберегавший от гибели.

Почему же все-таки понадобились Пастернаку «другой» человек, чтобы выразить самого себя, вымышленные обстоятельства, в которые сам он не попадал? А если бы он писал о себе и от своего имени — разве все-таки не стал бы он «другим»? Разве Ж. Ж. Руссо в своей «Исповеди» — произведении, написанном с предельной откровенностью, — тот самый, реальный Ж. Ж. Руссо? Разве не произошла у Руссо подмена самого себя выдуманным (невольно выдуманным) персонажем при всей правдивости поведенных фактов? Руссо заслонился в своей «Исповеди» подлинными фактами, которые стали у него как бы выдуманными, ибо так возросли в объеме, что нарушили соотношение между чем-то важным и тем пустым, мимолетным, чисто личным и поверхностным, которое Руссо в порыве отчаянной откровенности сделал самым значительным, полностью или наполовину закрыв свою настоящую душевную и духовную жизнь.

Наибольшей точностью самовыражения обладает лирическая поэзия. Лирический герой, выдуманный и отстраненный, на самом деле оказывается самым адекватным, самым ясным самовыражением поэта. Поэт пишет как бы не о себе и в то же время — именно о себе. Он может по-



ставить своего лирического героя в вымышленные обстоятельства, прибавить или убавить возраст, в котором существует реально, может, наконец, наделить его не испытанными им лично чувствами, но это будет все-таки он сам через кого-то другого. И напрасно думают, что поэт, если пишет от первого лица, всегда имеет в виду одного лишь себя. Да, поэт пишет и о себе, но раскрывает свое духовное, свое поэтическое «я» необязательно через реальные события и обстоятельства, в которых находится сам. Так же точно поэт может писать в третьем лице, но именно о себе. Человек наделен поразительной способностью к перевоплощению, но это перевоплощение одновременно есть способность к воплощению своих дум и чувств, своего отношения к окружающему через другого. И поразительно, что человек, воспринимающий лирику, очень часто именно через нее воспринимает и самого себя, в той или иной мере отождествляя свое «я» с «я» лирического героя. Этого не могло бы произойти, если бы поэт писал строго документально о себе, претендовал бы на фактографичность всего им сказанного.

Юрий Андреевич Живаго — это и есть лирический герой Пастернака, который и в прозе остается лириком.

Ручательством правильности моего взгляда на роман «Доктор Живаго» как на лирическую исповедь самого Бориса Леонидовича служит то, что Ю. А. Живаго — поэт, как и сам Пастернак, его стихи приложены к произведению. Это не случайно. Стихи Живаго — это стихи Пастернака. И эти стихи написаны от одного лица — у стихов один автор и один общий лирический герой.

Многие страницы «Доктора Живаго», особенно те, что посвящены поэтическому творчеству, строго автобиографичны. Вот как Борис Леонидович описывает поэтическое творчество Живаго — и в этом описании проступает важнейшая черта творчества самого Пастернака:

«После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела

им, и он испытывал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управлявших творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которым он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешнего слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и вращающей колеса мельниц, льющая речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер, и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор не признанных, не учтенных, не названных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался и озирался кругом».

Дальше Пастернак пишет, как мир сливается «в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну», которая «заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования». И это ликование тем значительнее в романе, что чистое существование это тотчас же слилось для него с «утробно-скулящим завыванием» подступивших к усадьбе волков.

Примечательно, что между поэтической образностью языка автора и поэтической образностью речей и мыслей

главного героя также нет различий. Автор и герой — это один и тот же человек, с одними и теми же думами, с тем же ходом рассуждений и отношением к миру. Живаго — выразитель сокровенного Пастернака. В этом нетрудно убедиться. В свое время во вступительной статье к лирической прозе Пастернака, а затем и к двухтомнику, где представлена и его поэзия и его проза, я писал, что образ у Пастернака иногда пересиливает реальность, послужившую рождению образа, получает собственное развитие, автономное движение как бы из себя — совсем в духе гуссерлианского феноменологизма марбургской философской школы, у которой учился Пастернак философии в Германии перед первой мировой войной. И разве не то же самое происходит в самом крупном из произведений Пастернака — «Доктор Живаго»? Образ Живаго — эманация самого Бориса Леонидовича — становится чем-то большим, чем сам Борис Леонидович: он развивает самого себя, творит из Юрия Андреевича Живаго представителя русской интеллигенции, не без колебаний и не без духовных потерь принявшей революцию. Живаго-Пастернак приемлет мир, каким бы он ни был жестоким в данный момент...

И еще одно обстоятельство чрезвычайной важности. Раскрывая себя через другого с иной жизненной судьбой, Пастернак не стремится убедить читателя в правильности своих суждений, своих колебаний. Живаго совершенно нейтрален по отношению к читателю и его убеждениям. Но этого не произошло бы, повествуй Пастернак о себе в открытую. Читателю казалось бы, что его убеждают, уговаривают, требуют разделить взгляды, — ведь это же взгляды самого автора, реального человека!

А что, в сущности, разделять? У Живаго больше колебаний и сомнений, больше лирического, поэтического отношения к событиям (настаиваю на этом выражении: «поэтическое отношение»), чем ясных ответов и окончательных выводов. В этих колебаниях не слабость Живаго,

а его интеллектуальная и моральная сила. У него нет воли, если под волей подразумевать способность без колебаний принимать однозначные решения, но в нем есть решимость духа не поддаваться соблазну однозначных решений, извобляющих от сомнений.

Живаго — это личность, как бы созданная для того, чтобы воспринимать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь. В романе главная действующая сила — стихия революции. Сам же главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не вмешивается в ход событий, он служит тем, к кому попадает, — однажды, в бою с белыми, он даже берет винтовку и против собственной воли стреляет в атакующих, восхищающих его своею безрассудною храбростью юношей.

Тоня, любящая Юрия Андреевича, угадывает в нем — лучше, чем кто-либо иной, — это отсутствие воли. Она пишет ему в своем прощальном письме: «А я люблю тебя. Ах, как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли».

Воля в какой-то мере — это заслон от мира. Раз нет однозначных решений, значит, не может быть и однозначного взгляда на самого себя, невозможна откровенная автобиография, а должен быть подставной герой, в которого можно вложить все, что необходимо, и в кого читатель поверит быстрее, чем в автора, особенно потому, что в нем нет никакого принуждения и есть не «заслон воли», а «открытость безволия».

И здесь обозначается межа между автором и его героем. Конечно, сам Пастернак далеко не безволен, ибо творчество требует громадных усилий воли. И он не нейтрален, поскольку создание образа эпохи уже есть вмеша-

тельство в жизнь. Может быть, и сам доктор Живаго безволен далеко не во всех смыслах, а только в одном — в своем ощущении громадности совершающихся помимо его воли событий, в которых его носит и метет по всей земле.

Образ Ю. А. Живаго, которого как бы пронизывает собой вся окружающая природа, который реагирует на все глубоко и благодарно (ведь он интеллигент!), чрезвычайно важен, ибо через него, через его отношение к окружающему, передается отношение к действительности самого автора.

«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу».

События Октябрьской революции входят в Ю. А. Живаго так же, как входит в него и сама природа...

Для Пастернака природа — живое чудо, отношение к ней автора помогает понять отношение к России и его самого и его героя.

Что такое Россия для Живаго? Это весь окружающий его мир. Россия тоже создана из противоречий, полна двойственности. Живаго воспринимает ее с любовью, которая вызывает в нем высшее страдание. В одиночестве Живаго оказывается в Юрятине. И вот его чрезвычайно важные размышления-чувства (чувств больше, чем размышлений): «...весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности как бы в знак того, что пространство насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями на шумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямец, сумасбродка, шалава, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет

сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!» То ли это слова Б. Л. Пастернака, то ли Ю. А. Живаго, но они слиты с образом последнего и как бы подводят итог всем его блужданиям между двумя лагерями. Итог этих блужданий и заблуждений (безвольных и невольных) — любовь к России, любовь к жизни, очистительное сознание неизбежности совершающегося.

Вдумывается ли Пастернак в смысл исторических событий, которым он является свидетелем и описателем в романе? Что они означают, чем вызваны? Безусловно. И в то же время он воспринимает их как нечто независимое от воли человека, подобно явлениям природы. Чувствует, слышит, но не осмысливает логически, не хочет осмыслить, они для него как природная данность. Ведь никто и никогда не стремится этически оценить явления природы — дождь, грозу, метель, весенний лес, — никто и никогда не стремится повернуть по-своему эти явления, личными усилиями отвести их от нас. Во всяком случае, без участия воли и техники мы не можем вмешаться в дела природы, как не можем просто стать на сторону некоей «контр-природы». Но исторические события традиционно всегда требовали оценки.

В этом отношении очень важно следующее рассуждение о сознании: «...что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа».

В другом месте Пастернак устами Лары (это второй персонаж, лишенный характерности, а поэтому также схо-

жий с автором) высказывает свою нелюбовь к голым объяснениям: «Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен».

Пастернак строго следует этому правилу: в своем романе он не объясняет, а только показывает, и объяснения событий в устах Живаго-Пастернака действительно только «приправа». В целом же Пастернак принимает жизнь и историю такими, какие они есть.

Чтобы понять такое отношение Пастернака к событиям, надо привести одну сцену из романа... Купив у мальчишки-газетчика экстренный выпуск с правительственным сообщением из Петрограда «об образовании Совета Народных Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата» (дело происходит в самый момент победы в Москве Октябрьской революции), Юрий Андреевич Живаго возвращается домой и, греясь у печурки, протягивает газету тестю: «Видали? Полюбуйтесь. Прочтите». Не вставая с корточек, вороша угли маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривает с собой:

«Какая великолепная хирургия! (Надо помнить, что доктор Живаго хирург и для него это высшая похвала.— Д. Л.) Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали.

В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от не виляющей верности фактам Толстого... Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летосчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, преж-

де чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое».

Эти слова в романе едва ли не самые важные для понимания Пастернаком революции. Во-первых, они принадлежат Живаго, им произносятся, а следовательно, выражают мысль и самого Пастернака. Во-вторых, они прямо посвящены только что совершившимся и еще не вполне закончившимся событиям Октябрьской революции. И в-третьих, объясняют отношение передовой интеллигенции к революции: «...откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины...»

Революция — это и есть откровение («ахнутое», данное), и она, как всякая данность, не подлежит обычной оценке, оценке с точки зрения сиюминутных человеческих интересов. Революции нельзя избежать. В ее события нельзя вмешаться. То есть вмешаться можно, но нельзя поворотить. Неизбежность их, неотвратимость делает каждого человека, вовлеченного в их водоворот, как бы безвольным. И в этом случае откровенно безвольный человек, однако обладающий умом и сложно развитым чувством, — лучший герой романа! Он видит, он воспринимает, он даже участвует в революционных событиях, но участвует только лишь как песчинка, захваченная бурей, вихрем, метелью. Примечательно, что у Пастернака, как и у Блока в «Двенадцати», основным образом-символом революционной стихии является метель. Не просто ветер и вихрь, а именно метель с ее бесчисленными снежинками и прони-



зывающим холодом как бы из межзвездного пространства.

Нейтральность Ю. А. Живаго в гражданской войне декларирована его профессией: он военврач, то есть лицо официально нейтральное по международным конвенциям.

Прямая противоположность Ю. А. Живаго — жестокий Антипов-Стрельников, активно вмешавшийся в революцию на стороне красных. Стрельников — воплощение воли, воплощение стремления активно действовать. Его бронепоезд движется со всей доступной ему скоростью, беспощадно подавляя всякое сопротивление революции. Но и он также бессилён ускорить или замедлить торжество событий. В этом смысле Стрельников безволен так же, как и Живаго. Однако Живаго и Стрельников не только противопоставлены, но и сопоставлены, они, как говорится в романе, «в книге рока на одной строке» (это слова из «Ромео и Джульетты» Шекспира, величайшего драматурга-историка). И то, что оба они связаны с Ларой, тоже отнюдь не случайно.

А что такое сама Лара, стоящая между ними и одинаково любящая обоих? В традициях русского классического романа есть несколько образов женщин, как бы олицетворяющих собой Россию. Это олицетворение в разной степени полно или, вернее, в разной степени неполно, но намек на связь женского образа с образом России все же существует, как бы брезжит сквозь ткань повествования и сквозь ткань самого образа у разных авторов. Татьяна Ларина у Пушкина, бабушка в «Обрыве» Гончарова, я бы не побоялся сказать — Катерина в «Грозе» Островского, мать в одноименном произведении Горького (хотя, буду откровенен, этот образ мне не совсем по душе своей назидательностью). Лара — это тоже Россия, сама жизнь. Лара на время исчезает из судьбы Живаго, чтобы явиться затем после его кончины и благословить его тело.

Ближе всего в своем понимании хода истории Пастер-

нак к Льву Толстому. Я не соизмеряю их, я только сравниваю их историософию. У Толстого в его исторических отступлениях она откровеннее, у Пастернака же скрыта лирической взволнованностью. Но я думаю, что в художественном воспроизведении событий у каждого из них есть своя логика. Не будь у Толстого его исторического мировоззрения, исповедуй он взгляд на личность как на главный двигатель истории, народной эпопеи у него не получилось бы. Была бы трагедия лиц. Кутузов легко отошел бы в тень перед Наполеоном, и народ, нация оказались бы где-то внизу событий. Это Пастернак понимал.

Здесь я снова позволю себе привести цитату из романа:

«За этим плачем по Ларе он (доктор Живаго. — *Д. Л.*) также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно.

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преобразается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действительные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много — годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне».

Я прошу извинения у читателей, что привел такую большую выдержку из романа, но она крайне важна не только для понимания исторических взглядов Пастернака, но и его отношения к революции, к ее событиям как к некоторой абсолютной данности, правомерность появления которой не подлежит обсуждению.

Перед нами философия истории, помогающая не только осмыслить события (вернее, отказаться от их оценки), но и построить живую ткань романа: романа-эпопеи, романа — лирического стихотворения, показывающего все, что происходит вокруг, через призму высокой интеллектуальности.

Действительность отражена здесь не сама по себе, а пропущена через личные впечатления, всегда обостренные... Таковы и его «исторические поэмы» «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Б. Л. Пастернак всегда был чужд чистоплюйства в поэзии. Он был чужд чистоплюйства и в изображении истории. Революционные события предстали перед ним во всей их обнаженной сложности. Они не укладывались в голые хрестоматийные схемы принятых описаний, принадлежащих иногда людям, не видевшим и не переживавшим самих событий. Противоречия могли быть в их эмоциональ-

ном понимании, ибо Пастернак не истолковывал событий.

О книге лирики «Сестра моя — жизнь» поэт писал: «Мне было совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали». Эти же слова Пастернак мог бы отнести и к роману «Доктор Живаго». Они свидетельствуют о его величайшей скромности и осознании своего положения как бытописателя событий.

## ПРОТОТИПЫ И ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОКИ РОМАНА

### Б. ПАСТЕРНАК О ПРОТОТИПЕ ЛАРЫ

7 мая 1958 года Пастернак в письме Ренате Швейцер написал о прототипе образа Лары из романа «Доктор Живаго»: «Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской... Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать... Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней не заметно, что она в жизни перенесла... Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела...» И спустя год в интервью английскому журналисту: «Она — мой большой, большой друг. Она помогла мне при писании книги, в моей жизни... Она получила пять лет за дружбу со мной. В моей молодости не было одной, единственной Лары... Лара моей молодости — это общий опыт. Но Лара моей старости вписана в мое сердце ее кровью и ее тюрьмой...»

*Алла Алова. Роман летел к развязке. —  
«Огонек», 1988, № 37*

М. Бриман,  
соб. корр. газеты «Советская  
культура»

## ПО СЛЕДАМ ДОКТОРА ЖИВАГО

«Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из «серебряной роты» Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника...»

Я споткнулся об эту «серебряную роту», читая те главы романа, в которых доктор Живаго живет среди партизан. Где-то я уже слышал о ней. Задолго до романа.

Через несколько страниц еще одна знакомая деталь. Там, где речь идет о том, что вместе с партизанами в глубь тайги отступает и население: «двигавшиеся пешком, с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше-де скорая смерть, чем долгая от голоду...»

Вот эта высыпанная на землю мука почему-то позволила вспомнить. Это уже было в «Записках партизана» Василия Григорьевича Яковенко.

Несколько слов о нем, чтобы было понятно дальнейшее.

Самый молодой нарком в правительстве Ленина, Василий Яковенко родился в 1889 году в селе Тасеево Красноярского края. Сначала был батраком, потом самостоятельным хозяином-середняком. В 1910 году призван на действительную службу. Храбро воевал в первую мировую. Удостоен трех Георгиев. В июле 1917 года стал большевиком. После Октября вернулся в Тасеево, был избран председателем волостного ревкома. Во время колчаковщины — организатор партизанской борьбы. Основатель и руководитель знаменитой Тасеевской партизанской республики,

островка Советской власти, продержавшегося до прихода Красной Армии.

В январе 1922 года ВЦИК по предложению В. И. Ленина назначил недавнего крестьянина наркомом земледелия республики. Яковенко не было еще 33 лет. На этом посту он проработал почти два года. Затем был назначен наркомом социального обеспечения. В 1925 году вышла его небольшая книжка «Записки партизана».

Шесть лет я собираю материалы о Яковенко и Тасеевской партизанской республике, а потому быстро нашел главу этой книги, в которой речь идет о трагическом отступлении в глубину тайги.

«Среди беженцев,— пишет автор,— вновь усилилась паника. Некоторые, например, вытрясали из мешков муку, совершенно не соображая, что этим они себя обрекают на голодную смерть...»

И «серебряная рота» — отсюда. Она была сформирована в первый день восстания против Колчака из стариков тасеевцев, вооруженных охотничьими ружьями. Как и в романе Б. Пастернака, рота эта охраняла штаб, председателем которого был Яковенко. Но в трудную минуту старики шли в окопы. Все сплошь охотники, они стреляли без промаха...

И заговор против штаба, описанный в романе, это тоже из «Записок». Пастернак пишет, что «это была мразь, подонки партизанщины». Кое-кто из заговорщиков был причастен «к варке самогонки». А Сивоблюй вошел в этот заговор, чтобы его разоблачить.

А вот как об этом сказано у Яковенко: «Мы... нарочно в их присутствии обругали и выгнали одного из наших товарищей. Считая его обиженным нами, и, следовательно, сочувствующим им, они, не опасаясь его, начали обсуждать план побега к Колчаку...»

Как и в романе, заговорщики были расстреляны.

Все эти совпадения вряд ли можно считать случайными. Скорей всего Борис Пастернак читал книгу Яковенко.

Но дальше начинаются загадки, ответа на которые пока нет.

Все, кто прочел «Доктора Живаго», не могли не заметить трагически-яркой фигуры партизана Памфила Палых. Памфил безумно боится, чтобы его дети и жена не попали в руки белых.

«— Одолевают нас белопогонная гадина,— говорит он доктору Живаго.— Да не обо мне речь. Мое дело гроб... Да ведь своих-то родименьких я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в руки поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке...»

И вот наступает час, «когда постоянный страх за судьбу своих охватил Памфила в небывалых размерах». «В воображении он уже видел их, отданных на медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве сам их прикончил. Он зарубил жену и троих детей острым, как бритва, топором, которым резал им, девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки...»

А теперь другой отрывок — из рукописи, найденной мною в Красноярском партийном архиве:

«Многие не выдержали кошмарных трудностей отхода. Разум у них помутился... Уладив дела по хозяйственной части штаба, Кузьма Егоров около полуночи бросился к шалашу, где помещалось его семейство: жена и четверо детей. «Как и чем я их повезу? Маленькие дети ни пешком, ни верхом передвигаться не могут. За армией во всяком случае не поспеть. А вдруг погоня? Нападение?» Егорову представилось, как пьяные солдаты хватают его жену и детей, после всяких истязаний поднимают на штыки. И разум Кузьмы Артамоновича помутился. Он, такой мягкий, добрый человек, взял нож и вырезал всю семью, чтобы не отдавать на поругание врагу. Остался только старший сынишка. Когда он увидел, что отец убивает мать, его охватил ужас. Не помня себя, он головой



пробил стену шалаша и выскочил на волю. Там уполз в кусты...»

Это тоже из воспоминаний Яковенко. Но неопубликованных. В «Записках партизана» об этом случае нет ни слова.

...Фаина Мартемьяновна Буда, младшая сестра Николая Буды, командующего партизанской армией, — единственная оставшаяся в живых из 11 братьев и сестер. Ее старший брат Анатолий был расстрелян колчаковцами. Николай, получивший орден Красного Знамени за гражданскую, и Семен, чекист с четырьмя ромбами, погибли в 37-м. Фаина Мартемьяновна живет в Москве. В свое время она часто бывала в доме «мужицкого наркома» и хорошо помнит, как Василий Григорьевич вместе со старым большевиком В. Романовым, мужем ее сестры Антонины, в начале 30-х годов работал над новой книгой воспоминаний. Этот большой, по ее словам, труд бесследно исчез, когда Яковенко и Романов были арестованы в 37-м. Поиски, которые предприняла Фаина Мартемьяновна, не увенчались успехом.

Автору этих строк повезло несколько больше. В Красноярском партийном архиве была найдена глава из книги В. Яковенко. Из нее и взят рассказ о Кузьме Егорове.

Загадка заключается в том, как Б. Пастернак мог узнать об этой истории, если книга воспоминаний осталась неопубликованной. Никаких сведений о знакомстве поэта с Яковенко или Романовым нет. Правда, в доме самобытного, яркого человека, каким был Василий Григорьевич, писатели, по словам Ф. М. Буды, бывали. Например, Новиков-Прибой. Но Пастернак? Этого она не помнит.

Хорошо бы найти ответ на эту загадку. А вдруг он поможет выйти на утерянную рукопись Яковенко. Когда в апреле 1934 года Яковенко привез эту рукопись в Красноярск, многие старые большевики, участвовавшие в ее обсуждении, отмечали не только интереснейший истори-

ческий материал, собранный автором, но и высокие художественные достоинства книги.

Несколько слов о судьбе Кузьмы Егорова, ставшего прообразом Памфила Палых. Тогда, в дни отступления, партизанский трибунал его помиловал, придя к выводу, что семью он убил в приступе помутнения разума. По окончании гражданской войны Егоров долгое время работал в райпотребсоюзе на разных должностях. Женился. По словам старейшей жительницы Тасеево, участницы и свидетельницы событий тех лет, Анастасии Александровны Вахрушевой, односельчане так и не простили ему того поступка. Не простил и уцелевший сын.

И еще о «серебряной роте».

Тасеевцы готовятся отметить 70-летие своей партизанской республики. Проходят фестивали, фольклорные праздники, театрализованные митинги. Активное участие во всех этих делах принимает тасеевский хор ветеранов, которым руководит редактор районной газеты Алита Густавовна Либрехт. Она многие годы собирает материалы о гражданской войне. Она же смогла найти и Фаину Мартемьяновну Буду. Недавно Алита Густавовна пригласила меня на репетицию своего хора. И здесь я услышал песню:

Из дальнего таежного похода,  
сквозь грозы и густой туман,  
идет домой серебряная рота  
сибирских славных партизан...

Песню эту пели сыновья и дочери бойцов той роты...

*Красноярский край*

*«Советская культура»,  
9 августа 1988 г.*

## Наталья Иванова

### ИСКУПЛЕНИЕ

...Я всегда ко всему готов.

*Из письма Б. Пастернака  
О. Фрейденберг  
от 28 марта 1947 года*

О подлинной причине появления на свет романа «Доктор Живаго», «книги жизни», как ее назвал автор, свидетельствует его письмо Вяч. Вс. Иванову от 1 июля 1958 года. Причиной этой была глубокая неудовлетворенность Пастернака собственной жизнью. «Я давно и долго,— писал он,— еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накоплением промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры,— тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли

в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось.

Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он — удачен. Но это — пер е в о р о т, это — п р и н я т и е р е ш е н и я, это было желание начать д о г о в а р и в а т ь все до к о н ц а...» (разрядка в цитатах здесь и далее моя. — *Н. И.*)<sup>1</sup>.

Итак, неудовлетворенность, да причем такая, что рождает готовность почти на все, вплоть до самоказни. Пастернак отдавал себе прямой отчет в том, что романом он отныне круто менял весь маршрут своей жизни, свою судьбу.

Откуда же возникло это чувство неудовлетворенности, вины и потребности ее искупить? Если до 1936 года существование Пастернака в литературе было действительно благополучным и довольно спокойным — при этом ему прощалось многое (например, прямое заступничество перед Сталиным за Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилева, а также за Н. И. Бухарина), — то в 1936 году «все сломилось во мне, — признавался Пастернак, — и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал»<sup>2</sup>.

С этого времени поэзию Пастернака начинают публично и официально называть «клеветой на советский народ» (В. Ставский, 1936 г.), «шифром, адресованным кому-то... для чуждых и враждебных целей» (пленум СП 24 февраля 1937 года). Политические инсинуации против Пастернака разгораются одновременно с кампанией против так называемых «формалистов». С более или менее продолжительными перерывами эти инсинуации преследовали Пастернака до последних лет его жизни, завершившись травлей по поводу романа и исключением из Союза

<sup>1</sup> Цит. по работе: Б о р и с о в В. М., П а с т е р н а к Е. Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». — «Новый мир», 1988, № 6, с. 222.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1988, № 6, с. 214.

писателей. Но Пастернак не был арестован и тем более репрессирован, как многие из близких ему людей. Не покончил с собой, как П. Яшвили. Более того: он говорил с вождем, и вождь разговаривал с ним благосклонно, советовался с ним по поводу его репрессированного товарища, О. Мандельштама. И хотя А. Ахматова, как сообщает в своих «Записках» Л. К. Чуковская, оценила его поведение на хорошую четверку, сам Пастернак, как мы предполагаем, так и не простил себе этого разговора, своей неуверенности и размытости в ответах и оценках, а также последних слов о том, что он хотел бы поговорить со Сталиным «о жизни и смерти». Письмо Вяч. Вс. Иванову косвенно свидетельствует об этом, как и о том, что благополучие судьбы его удручало, делало не только свидетелем, но как бы и молчаливым участником тех времен, которые, как он писал в «Охранной грамоте» еще в 1931 году, напоминали о «щели» для доносов и сытых кровью «львиных мордах».

То, что Пастернак ставил себе в вину, могло и не быть его реальной виной — например, несмотря на его категорический отказ ставить свою подпись под «коллективной», осуждающей Бухарина, она (подпись) все-таки была сфальсифицирована, и все протесты Пастернака ни к чему не привели. Они — погибли, а я — живу: и это было в сознании. И то, что он увидел на Урале в 1934 году, — раскулаченных, умирающих от голода, — было ужасно, — и хотя он заболел после этого чуть ли не на год, но ведь выжил, и в Париж ездил! Чувство вины усугублялось, конечно же, и написанными в 1936 году стансами — «Мне по душе строптивый норв». Получалось, что Пастернак п е р в ы м сочинил оду вождю, а за ним и другие соблазнились... Хотя, если мы осмыслим весь фон этого стихотворения, станет очевидным, что вызвало его к жизни, как это ни парадоксально, в том числе и знаменитое сталинское резюме о Маяковском, отменявшее все разговоры о первенстве Пастернака.

Пастернак был горько неудовлетворен своей жизнью, своим поведением, своим творчеством. И, работая над романом, донорски отдавая свою кровь, свои стихи, Пастернак в нем, в Юрии Андреевиче Живаго, прожил ту жизнь, которой бы ему не было стыдно, в которой бы он не каялся: полную добра, любви, страданий, унижений, бедности. И — завершившейся такой нелепой, некрасивой, бедной смертью. Это — другая жизнь, или, как сейчас модно говорить, ее альтернативный вариант. Создание романа было и сознательным покаянием, и сознательной жертвой — недаром одним из первых сочиненных стихов Живаго стало стихотворение «Гамлет», насыщенное новозаветным смыслом. «Чашу сию» Пастернак выпил и именно поэтому был счастлив — особенно пока шла работа, — и даже во время тяжелых испытаний — общественного скандала, да и после него. 16 декабря 1957 года он писал Е. А. Благиной: «Я не знаю, что меня ждет... как бы они (неожиданности. — *Н. И.*) ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости... что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью». Теперь, после жертвы, Пастернак ощущает себя художником и христианином, исполнившим свой долг.

\* \* \*

Два мотива являются для романа «Доктор Живаго» основополагающими, развивающимися контрапунктно. Их взаимодействие точнее всего будет определить одним из любимых, ключевых пастернаковских слов — «скрещенье». Мотивы для русской литературы традиционные. Но так как сам роман, на мой взгляд, подводит итоги русского романа XIX века с его уходящей поэзией «дворянских гнезд» и усадеб, красотой деревенской природы, чистотой и жертвенностью героинь, мучительной рефлексией и трагической судьбой героев, а герой его замыкает собою длинный

ряд героев Лермонтова, Тургенева, Толстого и Достоевского (думается, что недаром дочь Юрия Живаго и Лары названа Татьяною, — это последняя в ряду русской литературы ТАТЬЯНА ЛАРИНА с ее страшным детством и юностью, с ее языком, столь страшно отличным от языка пушкинской тезки), то эта традиционность мотивов как бы сама собой разумеется. Я имею в виду мотивы природы и железной дороги, то есть жизни и смерти, лежащие в основе почти каждого из предыдущих романов.

Эти два мотива принимают на протяжении книги разные обличья: живая история, например («Что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению»), и антидуховность («хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников»). Эти мотивы постоянно спорят друг с другом, существуют и развиваются в диалектическом противоречии. После пришествия Христа, говорит дед Юры Живаго, философ-расстрига Веденяпин, «человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти». То есть смерть такого человека уже духовна и работает на жизнь — как и математические, физические открытия, музыка («для этого пишут симфонии»). А изрытые оспою лица властителей, Калигул — это мертвая смерть.

Вспомним знаменитые слова Толстого о свече жизни Анны Карениной, погасшей на железной дороге; вспомним мужика, стучащего по железу, из ее сновидений. Вспомним «Век шествует путем своим железным» Баратынского — строки, отразившие мучительные размышления поэта о трагической подоплеке цивилизации и движении прогресса. Стихи Некрасова и Блока, разговоры в поезде Рогожина с Мышкиным — ряд «прародителей» романа Пастернака можно было бы длить и длить.

Самым сильным предшественником скрещения этих мотивов у Пастернака был, думается, все же Толстой.

И свеча из «Анны Карениной», и дуб, и аустерлицкое небо «Войны и мира» обрели новую жизнь на страницах пастернаковского романа.

Природа в концепции романа являет собою всеобъемлющее начало мироздания. Размышляя у гроба Живаго об их любви, Лара думает: «Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого царственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, людное нянченье с ним и человекопоклонство их не привлекали».

Пастернак более чем олицетворяет природу (по небу, «как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака»). Он ее обожествляет. А если она оскорблена, то чуть ли не дьявольским началом. Доктор Живаго, бредущий по разоренной гражданской войной стране, видит поля тяжело заболевшими, «в жарком бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления». Юрию Андреевичу казалось, «что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола».

Главный герой романа недаром носит фамилию Живаго (хотя фамилия распространенная) — воплощением «духа живаго» в жизни и творчестве является этот человек, тончайшими нитями связанный с миром природы, истории, христианства, искусства, русской культуры.

Юрий Андреевич Живаго — интеллигент. Он интеллигент и по духовной жизни своей (поэт, как говорится, от Бога), и по профессии своей милосердной, человеколюбивой. И по неисчерпаемой душевности, домашности внутреннего тепла; и по неприкаянности, по стремлению к независимости — интеллигент. Д. С. Лихачев в своей



вступительной статье к роману напомнил о важности того момента, что Живаго — врач, и нейтральность его «в гражданской войне декларирована его профессией; он военврач — то есть лицо, официально нейтральное по международным конвенциям». Но дело здесь, как мне кажется, не только в профессии героя. И за разъяснением обращаюсь к стихам другого поэта, М. Волошина:

А я стою один меж них  
В ревушем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

Эти строки тоже воскресли сегодня из небытия. «Бывают странные сближения» — они напечатаны через страницу после «Доктора Живаго» во втором номере «Нового мира» за 1988 год.

Что отвращает интеллигента, так это стадность. «Всякая стадность — прибежище неодаренности», — утверждает один из героев романа, и не без оснований. Презрение к стадности и ненависть к насилию соединены в Юрии Живаго с горячим сочувствием к народным бедам, с глубоким пониманием неизбежности революции. «Какая великолепная хирургия!» — думает он с восхищением.

Но после этого восхищения берут свое реальная жизнь, быт, которого попросту нет, как нет муки, соли, спичек, даже воды.

Но не только житейский дискомфорт иссушает Живаго. Отталкивает его жестокость разгулявшейся красной партизанщины, отталкивает и жестокость белых. Отталкивает и равнодушие новой власти к культуре.

Возьмем пример совсем другого, казалось бы, рода — пример пролетарского писателя М. Горького. Вот что он пишет в очерке «В. И. Ленин»: «В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными». И дальше там же: «С коммунистами я расходился по

вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией...» В «Несвоевременных мыслях» Горький свидетельствовал, что империалистическая и гражданская войны развязали «звериные инстинкты», «общипали догола государство», что множество людей занимаются тем, что «грабят награбленное».

Все это не могло не тревожить русского интеллигента.

\* \* \*

Роман завершается смертью Живаго — а начинается с похорон матери десятилетнего Юры.

«Шли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра...» Первая же фраза романа свидетельствует о неразрывном единстве природы и памяти, утверждает единство природы и культуры. Это единство пронизывает всю поэтику романа. Ветер поет «Вечную память»; облако, «летевшее навстречу... стало хлестать его (Юрия.— *Н. И.*) по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня». Принцип лирики Пастернака — перенос восприятия и сознания с человека на природное явление — становится в романе организующим и основополагающим принципом. В ночь после похорон Юры, неожиданно проснувшись, впервые встречается с вьюгой и бурей, которая «узнаёт его». «За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание».

Образ вьюги, метели, бури, возникающий с первых страниц, проходит через весь роман. Эта вьюга — и очис-

тительная, метельная буря революции, ноябрьский снег, падающий на газету с первыми декретами Советской власти, которую жадно читает на углу Арбата Юрий Живаго. Это и метель, в которой он, еще не знакомый с Ларой, как бы предчувствовавший судьбоносную встречу, впервые видит с улицы оттаявший от свечи кружок — в заиндевевшем окне Камергерского переуллка, где идет разговор между Ларой и Патулей Антиповым, будущим ее мужем. «Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало». Именно в это мгновение Юра впервые слышит в своей душе высокие поэтические слова — «свеча горела на столе...». Это и рождественская морозная ночь, накануне которой умирающая Анна Ивановна благословляет Юру и его будущую жену Тоню. Ночь перед елкой у Свентицких и благосклонна к молодым героям, и словно предупреждает о грядущих испытаниях — Лариным выстрелом.

В эту морозную, метельную, странную и страшную ночь, ночь смерти Анны Ивановны Громеко и выстрела Лары, происходит зарождение поэта. Юра ждет, что продолжение прекрасной строки «придет само собой». Но оно «само собой» не приходит и не может прийти. Для прихода истинной поэзии потребовалась целая жизнь — именно поэтому автор знакомит читателя с двадцатью пятью стихотворениями своего лирического героя только в финале романа. Там они уже оправданы и искуплены всей его жизнью.

Но вернемся к столь настойчивому мотиву метели, вьюги, бурана, бури. Н. Н. Вильмонт в своих «Воспоминаниях и мыслях» говорит о панметафористике Пастернака. Этой своей идеей в свое время он поделился с тридцатитрехлетним тогда поэтом. Пастернак дал несколько иное определение своего метода — «всеобщая теория поэ-

тической относительности». Следуя этому методу, автор романа, на мой взгляд, непосредственно связывает бурю, которая у з н а л а десятилетнего мальчика, с той бурей и грозой, лиловой тучей, которая никак не могла догнать трамвай, в котором ехал Юрий Андреевич перед смертью: «Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла, все выше к небу подымавшаяся, черно-лиловая туча. Надвигалась гроза». А в эпилоге романа Гордон и Дудоров (в послевоенном разговоре) называют войну «очистительной бурей». Именно в войну даже «угрозы реальной смерти», пишет автор, «были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

К выдумке и вымыслу как таковым поэт всегда испытывал отвращение: «Ты стала настолько мне жизнью, Что всё, что не к делу, — долой, И вымыслов пить гол ов и з н у То ш н и т, как от рыбы гнилой. И вот я вникаю на ощупь В доп о д л и н н о й повести тьму...» («Кругом семенящейся ватой...»).

Противопоставление живого (природы, истории, России, любви, Лары, творчества, поэзии, самого Живого) и мертвого (мертвой буквы, указа, насилия, несущего смерть, братоубийственной войны, мертвящего духа нового мещанства, мертвой, неодошевленно-мертвящей, убивающей железной дороги и всего комплекса мотивов, с нею связанных) является главным стержнем романа.

\* \* \*

В 1931 году Б. Пастернак выступил с публичной читкой «Спекторского» на вечере, организованном редакцией современной поэзии ГИХЛа. Решался вопрос об отдельном издании романа, отклоненного до того Ленизгом. Не будучи в состоянии придаться к сюжету и

стиху, но исполняя спущенную сверху установку отвергнуть произведение, собрание вынесло следующую оценку: «Спекторский» — поэма бесспорной, очень большой поэтической ценности. Но от изощренной вязи ее стихов веет упадком, ущербом, осенними мотивами: и не случайно довлеют в «Спекторском» образы осенней природы — капель, сырость, дождь. И этот стиль не в силах передать «воздуха» нашей эпохи» («Литературная газета», 1931, № 15, 19 марта).

Однако «воздух» (сами того не предполагая, сравнившиеся точно отметили связь) передается Пастернаком именно через природные образы, обнимающие собой и эпоху, и тысячелетия, да и целое мироздание. «Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки» — разве это не образ времени, образ России перед русско-японской войной?

Мысль романа пронизана природными образами, сравнениями, уподоблениями, олицетворениями.

Река «отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа».

«Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам».

«Трехтонный высвист иволг... влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность».

«Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известь, летела Россия...»

Возникает несколько отчетливых природных «зон», выражающих собою атмосферу и суть происходящих событий. Это «дворянское гнездо», заброшенный помещичий парк в Кологривовке («Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки»). Поместье в Дулянке, дворик дома Свентицких

в Москве на Сивцевом Вражке («Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина»). Когда Лара после падения возвращается домой, «п о г о д а п е р е м о г а л а с ь». Имение Крюгеров на Урале — это «пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного, как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река».

Природа в романе — активный участник, соучастник и даже предсказатель, пророчица событий.

Судьба вещи тоже словно предвещает события. Дубовый резной шкаф по прозвищу «Аскольдова могила» (прозвищем этим его наделила Анна Ивановна, урожденная Крюгер), устанавливаемый дворником Маркелом, ударил Анну Ивановну. Удар спровоцировал течение тяжелой болезни. Можно видеть при чтении именно этот, первый, ближний план. Но есть у этого же бытового происшествия и план второй. Да, от последствий удара скончается Анна Ивановна. Но «Аскольдова могила» и изгнание ждут ее потомков. А дворник Маркел, упустивший шкаф, станет тем хамом управдомом, который, заняв крюгеровскую квартиру, брезгливо и нагло будет называть Юрия Андреевича Живаго в 20-е годы «вороной», «раззавой», «курицыным отродьем»...

Отец Юрия, разорившийся и спившийся уральский миллионер, кончает свою жизнь, бросаясь с поезда: «Распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют». С этим самоубийством в роман впервые входит симфоническая тема (или лейтмотив) железной дороги (композиция романа построена по музыкальным принципам). Эта тема состоит из множества разветвляющихся «подтем», отдельных линий или мотивов.

Итак, смерть отца Живаго на железной дороге (неподалеку от Кологривовки, где находится в этот момент Юра с дядей, Николаем Николаевичем Веденяпиным, расстригой и философом). Труп самоубийцы обступают женщины, во главе которых — Тиверзина, вдова машиниста, сгоревшего при крушении поезда. Она же — мать Куприяна Тиверзина, большевика, одного из руководителей стачки в 1905 году. В Москве Тиверзины живут неподалеку от Брестской железной дороги, в доме с галереями, где живет и Патуля Антипов, будущий муж Ларисы и будущий Стрельников, военспец во время гражданской войны. Стрельников-Расстрельников, как называют его в народе. В этом же дворе служит дворником Гимазетдин Галиулин, который во время первой мировой погибает на глазах так и не узнавшей его Лары. Он отец Юсупки, которого спас от побоев Антипова-старшего Тиверзин. Юсупка станет белым генералом, воюющим против Стрельникова (Антипова). Так история разведет бывших соседей.

К Стрельникову в бронированный вагон, за решением судьбы, отведут в 1919 году Юрия Живаго. И в этом поезде состоится один из важнейших для понимания романа диалогов — между Живаго и Стрельниковым.

В многосоставном поезде поедет на Урал, в Юрятин, семья Юрия Живаго. В этом же поезде будут ехать и трудмобилизованные, а среди них — и идеологи освободительного революционного движения, как кооператор Костоед-Амурский, и случайно попавший в колесо Истории белоголовый мальчик Вася, с которым еще раз столкнет судьба Юрия Живаго — уже тогда, когда он, голодая, будет пробираться через всю Россию в Москву.

Около железной дороги будет расположена и та будка, в которой живет Марфа, бывшая прислуга Лары, Марфа, на попечение которой будет оставлена Ларой дочь Юрия и Лары, Татьяна, с которой встретятся на военных дорогах в 1943 году Дудоров и Гордон. В этой будке и произой-

дет одна из трагедий, о которой косноязычно расскажет Ларина Таня. В спальном вагоне по железной дороге уедет с Комаровским Лара на Дальний Восток. В бочке около вокзала, неподалеку от железной дороги, солдаты жестоко убьют молоденького, рисующегося, не понимающего ситуации дворянина, подавшегося в революцию.

И наконец, именно на трамвайной остановке, у железных рельсов, найдет свою смерть главный герой романа.

Нависшая над Москвой лилово-черная туча, чей ход совершенно неожиданно пересекает старая «дама в лиловом», швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелузеева (именно там, в Мелузееве, произошло духовное сближение Лары и Юрия), наконец получившая разрешение вернуться на родину, а также движение трамвая по рельсам по Никитской вниз к Кудринке — создают тройное движение с разными скоростями и по разным направлениям. В точке пересечения трех линий умирает Юрий Живаго. Именно в финале романа еще раз и окончательно пересекаются те ведущие мотивы, которые были заложены в самом начале: буря (гроза) и железная дорога (городская модель — трамвай).

Юрий Андреевич Живаго умирает в конце августа 1929 года. В трамвае ему делается плохо — нечем дышать.

\* \* \*

Итак, 1929 год. С чем он был связан в сознании Пастернака?

Был отменен нэп, принят первый пятилетний план. Был объявлен год «великого перелома». Перелом был открытым — начало сплошной коллективизации.

В первом своем номере «Литературная газета» (понедельник, 22 апреля 1929 года) в передовой высокомерно писала: «Крестьянские массы... естественно не могут сразу пробудиться к сознанию и стать активными и решительными участниками социалистического строительства



нашей страны». Вот их и начали пробуждать. В передовой второго номера объявлялся призыв «к беспощадным классовым боям».

В передовой номера третьего утверждалось: «Темп переживаемой нами эпохи чрезвычайно лихорадочный».

Лихорадочность действительно нарастала, и прежде всего в поисках «врагов» и «агентов». В том числе — в литературной среде.

В августе 1929 года «Литературная газета» печатает статью Б. Волина «Недопустимые явления», направленную против Б. Пильняка и Е. Замятина, руководителей московского и ленинградского отделений Всероссийского союза писателей. В следующем номере уже вся первая полоса газеты выходит под крикливой шапкой: «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переклички с белой эмиграцией». Откровенный, злобный погром Б. Пильняка, чья повесть «Красное дерево» была напечатана в берлинском издательстве «Петрополис» (там же, кстати, где печатались А. Толстой, В. Каверин, К. Федин, Ю. Тынянов, М. Шолохов, о чем Б. Пильняк осторожно и растерянно пишет), печально перекликается в моем сознании с травлей Б. Пастернака в 1958-м. Редакция утверждала в 1929 году о Пильняке следующее: «Дискредитирует советскую литературу и наносит ей непосредственный вред». Собратья-писатели всех группировок спешили со своим оговором: «Творчество автора, проданное за границу, направлено своим острием против Советского Союза... Ведь это же вредительство квалифицированное!»; «Классовый враг чует в Пильняке своего агента»; «Попытка классовых врагов создать свою агентуру в среде советского писательства». Именно тогда возникла логика: я романа не читал, но осуждаю. Ее продемонстрировал даже В. Маяковский, выступивший от РЕФа. Он пренебрежительно писал: «Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других не

читал», однако «в сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».

В дальнейших номерах газеты шабаш разворачивался по известной — и живучей, как показало «дело» Пастернака, — схеме: «Писательская общественность, — рапортовала газета, — единодушно осудила антисоветский поступок Б. Пильняка»; «Не только ошибка, но и преступление»; «Клевета на Советский Союз и его строительство»...

Пильняк был другом Пастернака, который считал его крупнейшим русским прозаиком своего времени. На экстренном собрании московского отделения Всероссийского СП Пастернак попытался защитить Пильняка. В 1931 году он посвящает Пильняку один из своих поэтических шедевров, раскрывающих его отношение к проблеме «интеллигенция и государство»:

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,  
Вовек не вышла б к свету темнота,  
И я — урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста?..

Кампания против Пильняка была первой развернутой политической акцией такого рода. В нее вмешался Горький, попытавшийся защитить достоинство писателя: «И вот эти обывательские, мещанские, волчьи травли человека весьма надоедливо напоминаются каждый раз, когда видишь, как охотно и сладострастно все бросаются на одного» («Известия» 15 сентября 1929 года).

Такова атмосфера, в которой погибает Живаго (о связи общественных событий со смертью Живаго впервые напишет исследователь Л. Флейшман в книге «Пастернак в двадцатые годы», Мюнхен, 1984).

В своей последней, «пушкинской», речи, произнесенной в 1921 году, Александр Блок сказал, что Пушкина «убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура». И дальше, уже о себе: «Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а

творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Эти слова были исповедью поэта и пророчеством о своем близком конце. Что такое — отсутствие воздуха? Пастернак реализует метафору. «Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддалось его усилиям.

...Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что поток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше.

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал».

Железная дорога, как глубокая рана, пересекает пространство романа. В этом метаобразе сконцентрировано авторское ощущение неумолимой поступи времени, пренебрегающего человеком.

\* \* \*

Вечно живая и возрождающаяся природа олицетворяет в романе Россию и всю историю человечества. Природу и историю в художественной и философской концепции Пастернака объединяет бессмертие.

Пастернак, как правило, начинает главы романа с простейшей констатации: «Был солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествовавшую неделю, погода». Или: «Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира». Или: «В лесу было еще много непожелтевшей зелени». Но, постепенно разворачиваясь, почти

банальное природное описание углубляется, и через человека-творца, alter ego автора, каким и является в романе лирический герой, Юрий Андреевич Живаго, переходит и в живое непосредственное мироощущение, и в философию. Природный образ, воссоединяясь с человеком, разворачивается и как предтеча творчества, и как опора личности, и как столп мироздания.

«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться... «Лара!» — закрыв глаза, полупшепотом или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству».

Природа, мир, тайник Вселенной,  
Я службу долгую твою,  
Объятый дрожью сокровенной,  
В слезах от счастья отстою,—

писал Пастернак в стихотворении 1956 года. Концепция природы-Храма и лесника-Бога утверждается и в романе. При этом в метаобраз природы-Храма, Храма-леса на равных правах входит и город. «Высший мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу... Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески... Тогда Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего».

Так как история, утверждается в романе, — это вторая Вселенная, тоже побеждающая смерть, как и природа, то единство их несомненно. Но Пастернак настойчиво ставит природу (в этом единстве) на первое место. Так, сначала будет сказано, что «третий день стояла мерзкая погода», и лишь только после — «это была вторая осень войны».

Даже «мерзкая» погода не может остановить духовного погружения в красоту природы. Звезды сияют невзирая на грязь: «Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи».

И в тот момент, когда сын железнодорожного рабочего Павел Антипов (Стрельников-Расстрельников) не знает, как ему жить дальше, путь ему вдруг озаряют отнюдь не звезды, у которых он только что спрашивал ответа. «Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом».

Итак, роман пронизывает и организует скрещение и противоборство двух мотивов. В конце сюжета, казалось бы, торжествует смерть. Однако идея бессмертия природо-истории все-таки побеждает. И в тексте тоже. Недаром роман завершают строки о воскресении, возрождении к истинной жизни:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко Мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты.

Так — не на третий день, а через три десятилетия — вернулся к нам «Доктор Живаго». И теперь именно он, роман, как судья истинный, судит судей мнимых, ложных, присвоивших себе право суда. Тех, кто предрекал ему гибель, грозил автору гражданской смертью.

К своему роману Пастернак относился как к «чаше». Творчество, христианство, природа в сознании Пастернака переплетались и взаимодействовали, и для него роман был искуплением греха благополучия. Недаром и слова Пастернака свидетельствуют о том, что он воспринимал свой роман как акт почти религиозный. В письме секретарю МГК КПСС (одновременно — секретарю СП СССР) Д. А. Поликарпову он писал: «Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман»<sup>1</sup> (20 августа 1957 года). И все настоящие и предстоящие муки он готов принять с поистине христианской радостью страдания: «Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое»<sup>2</sup>. «Я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога» (письмо В. Т. Шаламову).

Духовный путь от «блестящих жителей Лаврушинского» (дом постройки 30-х годов, отделанный гранитом и мрамором, кость, кинутая писателям, которые спорили и ссорились из-за этажей — жить на более высоком считалось престижнее, и по этому поводу шла жестокая «борьба») к тем, кто живет «скромно и трудно» (письмо Н. Табидзе от 19 ноября 1950 года), завершился романом, «приближенным к земле и бедности, к бедственным положениям, к горю» (письмо З. Ф. Руофф 10 декабря 1955 года).

Еще в 1950 году, во время напряженнейшей работы над романом, Пастернак отмечал: «Если есть где-то страдание, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним?» Писал о необходимости «уважения к человеческому страданию и готовности разделить его» (письмо

<sup>1</sup> «Новый мир», 1988, № 6, с. 246.

<sup>2</sup> Там же.

Б. Пастернака Р. Микадзе). Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально-немо. Творческое начало требовало такой жертвы. Неоднократно в письмах (относящихся ко времени работы над романом) он уподобляет это начало («страсть — искусство») «религиозным убеждениям».

Христианство Пастернака требует отдельного исследования, оно ближе к толстовству, чем к ортодоксальному православию. Он ощущал несправедливость своего спокойного существования в условиях тоталитарной власти и хотел эту несправедливость преодолеть, искупить: «Я ко всему наперед готов и за все судьбе и небу скажу спасибо» (письмо Н. Табидзе от 4 апреля 1949 года). И когда во время тяжелого физически, но душевно освободившегося от гнета своей вины труда над романом Пастернак попадает в больницу с инфарктом, то на грани смерти «в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы... в промежутках между потерями сознания и приступами тошноты и рвоты» его «охватывало такое спокойствие и блаженство!..» «Господи,— шептал я,— благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликова́л и плакал от счастья» (письмо Б. Пастернака Н. Табидзе от 17 января 1953 года). Эти мысли и чувства глубоко отразились в стихотворении «В больнице». Так, в результате сильной творческой воли, с х о д и л и с ь две судьбы, пересекались, скрещивались две параллельные, независимые, казалось бы, линии: блестящего поэта (жителя Лаврушинского и Переделкино), уцелевшего во времена «большого террора», и его бедного героя.

К. Чуковский в своем дневнике писал о романе как об «автобиографии великого Пастернака»<sup>1</sup>. Да, этот роман

---

<sup>1</sup> «Новый мир», 1988, № 6, с. 246.

стал автобиографией: в процессе творческой работы Пастернака не только над своим произведением, но — над своей жизнью.

Все, что последовало, уже не имело для Пастернака того значения, которое придается современным взглядом. Он был ко всему готов и принимал страдание с радостью. Достоинством своего произведения он считал теперь «нелитературное спокойствие слога, отсутствие блеска в самых важных, сильных или страшных местах» (письмо Пастернака М. К. Баранович от 18 сентября 1955 года). Тому, что он совершил, «блеск» и «литература» были чужды.

«...Я ко всему готов».



## Говорят сегодняшние читатели

*Публикация «Доктора Живаго» вызвала поток писем в редакции газет и журналов. В большинстве своем это письма именно читателей романа. Показательно, что поставленные в них вопросы нередко определяют характер споров и размышлений вокруг «Доктора Живаго», как свидетельствуют об этом подборка материалов в газете «Правда», разговор за «круглым столом» в редакции «Литературной газеты».*

Как и следовало ожидать, полемическая статья Д. Урнова вызвала неоднозначную реакцию. Говоря о романе, одни читатели безоговорочно поддерживают позицию автора, другие выражают решительное несогласие с ней. О накале страстей можно судить по таким двум откликам. «Спасибо газете за объективность, а Д. Урнову — за смелость, — пишет конструктор Г. Коробков из Зеленограда. — Нынче высказать несколько неожиданное мнение — небезопасно». Не преувеличивает ли читатель? Что он имеет в виду? Это становится ясно из отклика ленинградца

---

<sup>1</sup> См. в этом сборнике с. 266 — 267.

О. Коцюбы, который спрашивает: «Как сопоставить с перестройкой статью Д. Урнова?» И сам отвечает: «Д. Урнов — самый настоящий ее противник». Вот так. Ни больше ни меньше...

Атмосферу сегодняшних споров вокруг произведения Б. Пастернака характеризует и такой штрих. Тридцать лет назад в редакционной почте о «Докторе Живаго» встречались письма, где говорилось: роман не читал, но я его не принимаю. Подобные отклики приходят и сегодня. Но звучат они так: Пока я не прочитал «Доктора Живаго», но «статья Д. Урнова — нехорошая статья». Автор этого письма Е. Самченко из Солнечногорска, правда, оговаривается, что знает другие прозаические произведения Б. Пастернака. В. Саркисян из Тбилиси тоже не читал романа, но критику его категорически отвергает.

Однако многие читатели стремятся не только выразить свои эмоции, но и разобраться в произведении, обосновать свою точку зрения. Экономист Л. Горичева из Москвы считает, что «Пастернак в своем романе проявил завидное для нас теперешних мужество — ведь массовое сознание еще не было готово воспринять произведение в силу своей подавленности и недостаточной осведомленности». Военнослужащий А. Кольцов из Щелкова пишет, что главное в романе — «боль писателя за человека и человечность», стремление осмыслить «проблему русской интеллигенции, привыкшей с малолетства к мысли о самостоятельной ценности к а ж д о г о мыслящего человека», интеллигенции, которая «отшатнулась от искажений и извращений идеи, а не от самой идеи...». Пенсионер, в прошлом учитель, Р. Миронюк из Добринки Волгоградской области считает, что Пастернак по-новому раскрыл «тему революции и гражданской войны», что главное в произведении —

сочувствие герою, оказавшемуся между двумя лагерями, его судьба «побуждает к раздумьям». Интересным представляется читателю и стиль романа. С этим не согласны учитель И. Посканный из села Великая Топаль Брянской области и москвичка И. Свешникова, которая пишет: «Я очень люблю Пастернака-поэта, но такие выражения, как «рвал и метал», «пожирал глазами» и т. д., приходится назвать банальными». Основную часть письма И. Свешниковой занимает спор с критиками, сравнивавшими героиню романа Лару с пушкинской Татьяной Лариной, видящими в ней олицетворение России: слишком уж уязвима Лара, по мнению И. Свешниковой, с нравственной точки зрения...

—  
*«Правда», 6 июня 1988 г.*

Кто он, доктор Живаго, спрашивают читатели и пытаются, как и некоторые критики, сравнивать героя с «лишними людьми», Климом Самгиным и Григорием Мелеховым, не сумевшими сделать свой нравственный выбор.

В читательской почте встретился неожиданно и такой вопрос: «Может быть, роман — литература свободного самовыражения? В нем не нужно искать привычной морали, помощи себе? Его нужно просто читать?» Да, все это так и есть. Однако роман, как все лучшие произведения, отличается включенностью в социальную жизнь, тенденциозностью в лучшем значении этого слова. Именно поэтому он воспринимается как великий гражданский подвиг писателя, а попытка его издать — как шаг, в те годы, безумной и прекрасной смелости.

*С. Елкина. Кто он, доктор Живаго? —  
«Медицинская газета», 8 июня 1988 г.*

## Дмитрий Урнов

### «БЕЗУМНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ СВОИХ СИЛ»

Крупнейшее произведение Бориса Пастернака, которое мы наконец прочли, дает, согласно намерениям автора, картину нашей страны в первой трети нашего века. Но прежде всего — это история заглавного героя. Роман написан не только о Живаго, однако он написан ради Живаго, чтобы показать драму такого современника революционной эпохи, который революции не принял.

Юрий Андреевич Живаго, отпрыск богатой буржуазной семьи, москвич, получил в Московском университете медицинское образование, побывал, как врач, на фронте первой мировой войны, в революционные годы находился в плену у сибирских партизан, потерял связь с семьей, высланной за границу, все же сумел спустя некоторое время вернуться в Москву, вел неопределенный образ жизни, кормясь то врачеванием, то литературой, поскольку писал с юных лет, умер скоропостижно от сердечного приступа, после него осталась тетрадь стихов.

«Что за чертовщина?.. Что-то чуждое, знакомое», — так однажды думает герой, и та же мысль сопровождает чтение романа. Москва предреволюционная и в пору нэпа, Сибирь времен гражданской войны, «кожаные куртки», «уплотнение» жилплощади, злой демон-совратитель, девушка, полетевшая, словно ночная бабочка, на притягательный и губительный огонь, интеллигент, очутившийся

между молотом и наковальней,— все это встречалось в нашей литературе столь часто и настолько хорошо было известно автору романа, что нельзя и думать о случайности впечатления чего-то уже читанного при чтении «Доктора Живаго». Случайно ли, например, что квартирует Живаго на Сивцевом Вражке, который служит местом действия, по меньшей мере, в трех произведениях, в том числе в романе писателя-эмигранта М. Осоргина<sup>1</sup> «Сивцев Вражек»? Погода у Бориса Пастернака — и та повторяется, как бы цитируется, в особенности если играет роль символическую. Скажем, вьюга, которая «была одна на свете», как будто залетела в роман из «Двенадцати» Александра Блока. А произносимая с подъемом фраза «Надвигается неслыханное, небывалое» вторит чеховской «громаде», которая тоже «надвигается», и «готовится здорвая сильная буря» («Три сестры»).

«Могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле» — таково первое, на первой же странице, появление Юрочки Живаго, когда он, десятилетний мальчик, поднимается на свеженасыпанный холм. Что-то знакомое!

И действительно, вспоминается: «Рассказывали, будто раз за обедом у Веселовских... вдруг запищало от края стола: — Милостивые государыни и милостивые государи... И тут лишь увидели, что над столом — голова «пупса», Юрочки; Юрочка, поднимая стакан... тост произносит» (А. Белый. На рубеже двух столетий).

Конечно, это случайность, что оба Юрочки и обоим как раз по десяти лет. Кроме того, Юрочка Живаго, в отличие от Юрочки Веселовского, поднялся не за торжественным столом и говорить на самом деле не собирался —

---

<sup>1</sup> От читателя я получил письмо, где указывается, что М. Осоргин эмигрантом не был. Верно в том смысле, что он не выехал из России сам, а был выслан. Но мы называем «эмигрантами» всех наших соотечественников, живущих за пределами нашей страны.

он зарыдал, но по существу эпизоды аналогичны. Истинная разница между ними заключена в отношении к «пуксу», мальчику, выступающему наравне со взрослыми, изначально получившему и чувствующему за собой жизненное полноправие. Один автор над своим Юрочкой иронизирует, другой — проникновенно всматривается.

Подобная переключка с предшественниками могла бы послужить предметом целого исследования. Но и так ясно: если автор предлагает нам перечитать знакомое, то, стало быть, о знакомом у него написано иначе, под другим углом зрения, чем писали прежде.

Борис Пастернак почувствовал себя, очевидно, исторически обязанным высказаться на тему уже, казалось бы, исчерпанную — об интеллигентском индивидуализме. Не думаю, что он полемизировал именно с мемуарными книгами Андрея Белого, охватывающими в точности тот же период, или, скажем, с чеховской «Скучной историей» и с «Жизнью Клима Самгина». Но вернуться к проблеме, к типу личности, раскрытой в перечисленных и во многих других классических произведениях, ему, вероятно, представлялось необходимым.

Он оказался свидетелем парадокса в судьбе таких людей, как горьковский Клима Самгин или его Юрий Живаго: революционный процесс разметал их среду и в то же время вынес ее обломки на поверхность, помещая заурядных представителей этой среды выше, чем они заслуживали: что считалось заурядным, то стало выглядеть исключительным. Это касается тех дореволюционных интеллигентов, кто в свое время, при очевидной культурной вышколенности и холености, был оценен невысоко, как духовная «бедность» (А. П. Чехов), «пустая душа» (А. М. Горький), «безмыслица» (А. Белый). И вдруг пустая душа попала на место духовности, а искусствовед типа профессора Серебрякова («Дядя Ваня»), которому Чехов поставил диагноз полной глухоты к искусству, оказался принят за тончайшего ценителя искусства,

и литературная неодаренность (при профессиональности и образованности) поднялась по шкале творческих достоинств, причем очень значительно поднялась, не ступенькой выше — чуть ли не на вершину. Совершалась подобная переоценка по мере того, как прошлое уходило все дальше, и любые его приметы и представители могли, за отсутствием шкалы для сравнения и прежней конкуренции, обрести преувеличенное значение. Тут мог возникнуть и вопрос: а не ошиблась ли наша литература, разоблачая индивидуализм как замаскированную безличность? И вот автор «Доктора Живаго» заново проделал детальный анализ личности, перечеркнутой его предшественниками.

Если, закончив чтение романа, вернуться к первой странице, к эпизоду на похоронах, то становится видно, что детски-непосредственный порыв, неумышленное восхождение, невольное возвышение над окружающими Юрочки Живаго — это символ его последующего поведения, уже осознанного.

«Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною» — так передано Юрино самочувствие, когда он подрос, стал студентом. И то же чувство в нем с годами не убывает, а только увеличивается, растет, достигая столь сверхъестественных размеров, что незадолго до своей скоропостижной кончины Юрий Андреевич готов сказать окружающим: «Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Так высоко в собственных глазах поднялся тот Юрочка, что некогда, взойдя на материнскую могилу, рыдал на виду у всех.

Надо отметить, что многих сверстников и друзей Живаго с детства приучали оставить мысль о том, что они «как все». Но, пожалуй, никто из них, кроме Юрия, не поддавался этому внушению полностью. И если близкий приятель Живаго как раз остерегается «безумного превышения своих сил», то сам он на превышение готов,

он и превышения никакого не видит, считая, что встать где-то над миром ему вполне по силам.

Хотя о собственном величии заявить во всеуслышание Живаго все же не решился, он, по ситуации, мог бы это сделать: с ним бы, пожалуй, согласились его близкие и друзья. «Ты талантливый...» — говорят ему свои люди, не подозревая, насколько он в том уверен и как этого еще недостаточно для его немислимой гордыни.

Живаго приходилось выслушивать и другие суждения о себе, противоположные. Получал он прямо в лицо, как мы можем судить с его же собственных слов, и «мелкую душонку», выслушал тираду и об «олимпийстве тунецев», даже дал себе труд ответить на упреки в «неоправданном высокомерии» и «непозволительной надменности», но фактически он все это пропускал мимо ушей. Его сокровенное желание — сделать общим убеждением то, в чем уверена его жена и он сам. То же самое он слышал от будущей тещи, только в кратком изложении (это будущая теща сказала ему — «талантливый»), а Тоня Громеко, ставшая Живаго, как послушная дочь, как верная, хотя и потерянная мужем супруга, рассуждает развернуто, договаривая все до конца: «Ах, как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли. Мне все это дорого, и я не знаю человека лучше тебя».

За ум да еще талант действительно многое прощается. Поэтому надо проверить такую характеристику. Автор предоставил нам полную возможность для этого: в романе многое о герое высказано, и все же место его настоящего оппонента оставлено незанятым. Никто как следует не поспорил с Живаго о том, что для него самого является



существенным, что оправдывает в нем, как и говорит жена, все: умен он или не умен? Талантлив или не талантлив?

Правда, к роману приложены стихи, чтобы, как говорится, снять подобные вопросы, но о стихах скажем позже. В романе, когда мы слышим о «талантливости» Живаго, когда говорится, что «Юра хорошо думал и очень хорошо писал», это скорее утверждается и повторяется слиянными голосами семейно-дружеского круга и самого Живаго, чем раскрывается и подтверждается. Вернее, когда раскрывается, то, по меньшей мере, вызывает сомнения.

Например, услышав о своей талантливости, Живаго выражается словесной трескотней и, вместо того чтобы проявить ум, произносит массу «умных» слов. Впрочем, именно таким образом он утешает мать своей будущей жены, но ведь у нас свои уши есть, а главное, это, как и похороны в начале, эпизод символический, обозначающий ситуацию в целом: для определенного круга Юрий Живаго, что бы он ни говорил, это воплощенный ум, талант, и лучше него быть не может.

Но когда заканчиваешь читать «Доктора Живаго», то вспомнить из жизни заглавного героя оказывается нечего — ни эпизода, ни момента, ни сцены, которые бы запечатлелись в памяти как яркое переживание. Пересказ сюжета у того, кто не читал роман, может создать иное впечатление: ведь, кажется, сколько всего происходит! Да, события, великие и малые, общественные и частные, совершаются, точнее, обозначаются непрерывно: то похороны, то самоубийство, то рабочие демонстрации, то мировая война, и в то же время ни одно из событий, больших и мелких, не пережито Живаго с достаточной (для читателя) выразительностью. словно все это совершалось не при нем и не с ним, будь то рождение его собственного ребенка или революция. И это впечатление также не может быть случайным: постоянно говорится (прежде всего устами Живаго) о многих переживаниях, но нет самих переживаний, что — в характере героя.

Даже та сцена, которую в 1956 г. в своем письме к Борису Пастернаку приводили Константин Федин, Константин Симонов и другие члены редколлегии журнала «Новый мир», объясняя отклонение рукописи, теперь в составе всего повествования выглядит едва заметной за счет все той же внутренней вялости, душевной непричастности главного персонажа к происходящему. Конечно, как всегда, Живаго и здесь говорит о чувствах, но где эти чувства в непосредственном выражении? Не говоря уже о том, какова, с нравственной точки зрения, его позиция в этот момент! Он стреляет нехотя и убивает случайно!

Это — бой в тайге, Живаго поневоле сражается на стороне партизан против колчаковцев, «близких ему по духу». Здесь сказано: «Жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал». Достоин ли любоваться людьми, которые сами идут на смерть и другим несут смерть? Но уж таков Живаго — говорит о чувствах, не испытывая их или, лучше сказать, испытывая лишь такие чувства — мелодраматические — в момент трагедии: «Но, о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь... двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни». Итак, посылая пули куда попало, он угодил не в одного — в троих, и если стрелять не целясь было вынужденным предательством по отношению к тем, в чьих рядах он находился, то ранить и даже убивать наобум того, кому — на словах — сочувствуешь, это... это... прошу, по собственному усмотрению подберите, как говорил Шекспир, имя действию.

«Я достоин жалости», — уверенно утверждает Живаго, и это предписание другим относительно себя самого, как обычно, совпадает с его самочувствием: «Ему было жаль себя». Ожидая от мира снисхождения, пощады и, наконец, признания, которое бы совпало с его самооценкой, Живаго судит о мире, человечестве и вообще о других

так, как ему угодно, и не замечает или не хочет замечать, что другим-то он не позволяет пользоваться теми мерками, которые считает подходящими для себя. «...Выяснилось, — толкует он Ларисе Федоровне, — что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара». Нужно ли оспаривать мнение доктора Живаго о деятелях революции? Не достаточно ли спросить, а он сам, поставивший себя «на равную ногу» со вселенной, разве согласен на меньшее? Чему же он удивляется? И что же он поражается жестокостям с той и с другой стороны, когда сам не только проявил жестокость, но — еще худшую жестокость, чем любая из сторон? Те знали, за что и почему убивают друг друга, а он ухлопал человека по нечаянности, из лучших чувств, стараясь «не попасть в кого-нибудь».

Как выяснилось, тот человек не был убит и оказался только оглушен, но дело не в этом: все равно — трагедия, однако Живаго трагедии не пережил, он красиво, как по книжке, давно читанной, спросил себя: «Зачем я убил его?» — и ни разу в дальнейшем не вспомнил этого ужаса.

А как он, если обратиться к чувствам другого рода, говорит о женщинах и с женщинами? Тут тоже возможно целое исследование, но мы ограничимся лишь немногими примерами. «Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мысли». Или — «лебедино-белая прелесть». А как они с Ларой бросаются в объятия друг к другу? Вы, если еще не читали роман, вероятно, не поверите: «как безумные».

Понятно, победителя не судят: если им восхищаются и в объятия к нему бросаются, то уж, как говорится, им виднее. Однако каждому глаза даны, и, по-моему, ничего в любовном романе Лары и Юры, кроме банальной связи, оформленной со всевозможным позерством и фразерством, не видно. Собственно, некоторые друзья пытались указать

Живаго на его скрытое, вычурными фразами маскируемое бездушие, но, по своему обыкновению, он их долго слушать не стал: сам выговорился и, не дав возможности возразить на его рацеи о том, как ему «до страсти хочется жить», сказал «До свидания» и тут же ушел.

Наконец, стихи, о чем свидетельствуют стихи, приложенные к роману? Что ж, стихи — разные, и не все хорошо, тем более очень хорошо из того, что будто бы написал Юрий Живаго. «Ты — на курсах, ты родом из Курска», «Разговоры вполголоса, и с поспешностью пылкой»... — такие строки, вне всякого сомнения, принадлежат ему, персонажу, автору сборника под названием «Игра в людей», стихи не лучше, не глубже его рассуждений в самом романе и читаются, соответственно, как стилизация расхожей поэзии того времени. Эти стихи — в самом деле перепев читанного и знакомого, они раздражительны, напоминают Игоря Северянина и других мэтров начала нашего века. Помещенные здесь же стихи иного рода и уровня, стихи самостоятельные и уникальные, принадлежат, мне кажется, другому человеку — Борису Пастернаку, но для того чтобы именно об этих стихах «из романа» говорить, надо говорить о поэзии Бориса Пастернака вне романа, а уж такую задачу придется отложить до другого случая.

Особый случай и более обширное печатное пространство требуется и для анализа взаимоотношений автора со своим героем. Наконец, совершенно особая тема — история публикации «Доктора Живаго». Для этого сейчас не только места, но и, прямо надо сказать, достаточных данных пока нет. Кто спешит представить дело так, будто роману противостояла одна только косность, не желавшая видеть замечательное произведение опубликованным, тот невероятно упрощает ситуацию. Просто изымает из нее внутренний драматизм. А этот драматизм был: ведь даже некоторые преданнейшие поклонники Бориса Пастернака считали, что поэт не оправдал их

надежд как романист. Разумеется, и тупое сопротивление играло свою роль, но держательство и непущательство своими силами помогали поддерживать атмосферу мученичества вокруг автора романа, парадоксальным образом содействуя шедшему из-за рубежа прославлению «Доктора Живаго». А за рубежом, в крупнейших капиталистических странах, тоже все складывалось не просто: сначала появились отзывы довольно сдержанные и прямо отрицательные, но автор оказался лауреатом Нобелевской премии, все распри были позабыты, и многие критики увидели глубину и силу, где прежде видели слабость. Это даже зафиксировано в американском «Справочнике по русской литературе», вышедшем в 1985 году. Там сообщено: «Доктор Живаго» отчасти следует традициям русского романа прошлого столетия, отчасти отклоняется от этих традиций, нарушая причинно-следственное чередование событий в повествовании, не соблюдая исторической хронологии, не сохраняя особенностей обстановки в ее достоверности и, главное, «размывая отчетливость облика центральных персонажей». И после добавлено: «Эти черты некоторыми критиками рассматривались как недостатки романа». Но в своем большинстве критики перестали быть критиками в отношении «Доктора Живаго» и сделались его апологетами либо занялись безоценочной расшифровкой символики в романе. И в самом деле, как критиковать роман, когда автор находится в несчастье? Поистине парадокс: грубые и заушательские нападки на Бориса Пастернака послужили для его произведения надежной защитой от серьезной критики. Нам теперь, когда мы прочли или читаем роман, предстоит разобраться и в этом парадоксе.

На этот раз, завершая разговор о «Докторе Живаго», хотел бы сказать еще раз: конечно, очень жаль, что Борис Пастернак не свел своего героя с идейным противником по-настоящему сильным. Умный большевик, который встречается ему в Сибири, все-таки щадит Живаго,

словно угадывая его пожелание, чтобы к нему проявляли жалость. А ведь Живаго можно было бы припереть к стенке и загнать в угол. Ведь нетрудно увидеть и показать, что о больших идеях и больших событиях говорит он начитанными наборами чужих слов, многие из которых относятся к тому, что его сверстник Андрей Белый, на тех же словесах выращенный, и назвал безмыслицей. Разумеется, чтобы порисоваться перед Антониной Александровной или Ларисой Федоровной и произвести на них неотразимое впечатление, этого может быть предостаточно, но разве это уровень эпохи? Юрий Живаго внутренне соглашается с тем, что он — укор новому миру, «насмешка над этим миром», ему и в голову не приходит, что, не приемля революции, он на самом деле должен быть признателен ей: только решительное потрясение, выбитость из своей колеи придали его чувствам и переживаниям некоторые краски. А то остался бы Юрочка благополучным «пупсом» до седых волос, стал бы второстепенным поэтом или (как «Юрочка» у Андрея Белого) посредственным переводчиком — не больше. Правда, и революционное потрясение не много исторгло из души Живаго: уж такой человек, такой тип, о котором в свое время было классически написано, и мы это читали, нам это знакомо: его раньше звали Николай Степаныч, профессор Серебряков, «русский денди», Клим Самгин, словом, пустая душа.

## Андрей Вознесенский

### СВЕЧА И МЕТЕЛЬ

«Доктор Живаго» — роман особого типа, роман поэтический. Огромное тело прозы, как разросшийся сиреневый куст, несет на себе махровые гроздья стихотворений, венчающих его. И как целью куста являются кисти, а смыслом яблони — яблоки, так целью романа являются стихи, которые из него в финале произрастают. Мы видим, как в процессе жизни, в душевной смуте автора, героя романа, сначала брезжит пламя свечи, увиденное сквозь морозное окно, в этом озарении является «Блок — это явление Рождества» в русской жизни, затем ночная чувственная свеча становится символом его любви к Ларе, метель, символ истории, задувает этот одинокий огарок, гибнет личность, одухотворенность, интеллигент — и, наконец, в финале романа расцветает чудо классического стихотворения — «Свеча горела на столе», без света которого уже нельзя представить нашей духовной культуры. Так же из судьбы героя рождается свет «Рождественской звезды», вздох «Гамлета»: «Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти».

Проза Пастернака отнюдь не статья «Как делать стихи», нет, это роман, жизнь поэта, роман о том, как живут стихом и как стихи рождаются из жизни. Таких романов еще не было.

Произведения классиков живут во времени, со своим

норовом. Их смысл, как цветок, то раскрывается читателю, то в иные времена закрыт от него. Так было с тургеневскими романами, с Мюссе, с Джойсом.

Увы, «Доктор Живаго» — это теперь не просто книга, роман сросся с позорными событиями вокруг него. Тридцать лет пропаганда наша, не прочитав его, не вдумавшись в лирическую музыку его волшебного русского языка, выдавала роман за политического монстра, за пасквиль против народа и революции. И вот роман напечатан. Напечатан в черед с сегодняшних горячих общественных шедевров. Думаю, что кое-кто из миллиона читателей, подписавшихся на «Новый мир» из-за публикации романа, находится в недоумении: какое несоответствие тридцатилетней чудовищной лжи вокруг романа и его лирических страниц! За что травили автора? За что исключили из Союза писателей, собирались выслать из страны?

За любовные страницы Юры с Ларой? За волшебное описание соловьиных трелей, сравнимых разве что с тургеневскими?

Увы, кроме преступления против личности поэта совершалось многолетнее преступление против смысла романа. В результате брани роман нельзя сегодня читать объективно. Читатель ныне тщетно ищет в книге обещанную «крамолу», барабанные перепонки, ожидающие пушечной канонады, не могут воспринять музыку Брамса. Как если бы по ТВ объявили хоккей или программу «Время», а людей заставили «слушать симфонии».

Увы, вина этой дезинформации лежит на тогдашних руководящих литературных интриганах. Именно они спровоцировали Хрущева, далекого от литературы, на санкционирование травли поэта. Вот официальная оценка поэта: «...свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ест».

Вот несколько цитат с позорного шабаша собрания писателей — 31 октября 1958 года, исключившего поэта и требовавшего от правительства высылки его из страны:



«Пастернак по существу — это литературный Власов. Генерала Власова советский суд расстрелял! (К р и к и с м е с т а: Повесил!) Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом!»

Маститый критик заявил: «Пусть отправляется туда. Мне и нашим товарищам даже трудно представить, что такие люди живут в нашем писательском поселке. Я не могу представить, чтобы у меня осталось соседство с Пастернаком. Нельзя, чтобы он попал в переписку населения СССР».

Это о Пастернаке-то, лучшем поэте времени, дышать воздухом поэзии которого было редчайшим счастьем, как и дышать хрустальным воздухом Байкала и Арала, чудо которых так же туго уничтожали!

И вполне логично, что тот же критик, ведя артподготовку к этому собранию, писал 9 сентября 1958 года в «Литературной газете»: «Религиозные эпигонские стихи Пастернака, от которых несет нафталином из символического сундука образца 1908—1910 гг.».

А 1 ноября «Литературная газета» писала: «Не случаен... бухаринский панегирик в его адрес!» «Доктор Живаго» — не духовный ли сын Клима Самгина? Горький разоблачил Самгина. Пастернак в Живаго разоблачил сам себя». Герой — автор. Следовательно, поэта надо высылать!

Зачем сегодня критику Д. Урнову, который знает все эти наветы, понадобилось сознательно их переписывать? И о «Климе Самгине», и о том, что стихи из романа повторяют «расхожую поэзию того времени»? Примером он приводит «Белую ночь», одну из жемчужин российской лирики.

Фонари, точно бабочки газовые,  
Утро тронуло первую дрожью.  
То, что тихо тебе я рассказываю,  
Так на спящие дали похоже.

Мы охвачены тою же самою  
Оробелою верностью тайне,  
Как раскинувшийся панорамой  
Петербург за Невую бескрайней.

Дай Бог, чтобы хоть одно еще такое стихотворение осчастливило российскую словесность! Судя по всему, критик лишен счастья понять эту музыку, музыку поэзии, музыку совести, которая составляет содержание романа. Неужели критик в столь большом романе не увидел *ни одной* достойной строки?

«За ум да еще талант действительно многое прощается», — снисходительно пишет критик и задумывается об авторе стихов романа: «Умен он или неумен? Талантлив или неталантлив?» Но мериллом таланта являются не административные посты автора, не номенклатурное место в БСЭ — увы, мериллом таланта являются только стихи. А стихи в романе — великие стихи классической русской традиции — «Сказка», «Лето в городе», «Разрыв», «Магдалина».

Критик бранит поэта, автора стихов: «заурядность», «благополучный пупс до седых волос», «второстепенный поэт или посредственный переводчик». Эти стрелы, увы, направлены отнюдь не в адрес героя романа. Роман написан методом метафорической автобиографии. Все его герои и события имеют прототипов в пастернаковской жизни. В Николае Николаевиче мы видим Белого и Скрябина, Стрельников — духовная метафора Маяковского. Доктор филологических наук Урнов знает, что Борис Пастернак писал: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку — Юрию Живаго». Значит, брань о «заурядности» сознательно направлена против Б. Пастернака, глубочайшего поэта нашего века! Да и гражданина.

В 1937 году, когда собирали подписи под письмом,

одобряющим смертный приговор Якиру, Тухачевскому и другим, Пастернак был единственным писателем, который отказался подписать это позорное письмо. В романе мы читаем фразу, обеспеченную риском своей жизни: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия».

Травлю поэта критик называет застенчиво «несчастьем». Почему хоть сегодня не назвать все своими именами?

«Стихи не лучше, не глубже его рассуждений в самом романе», — пишет Урнов. Что стихи великие, известно ныне даже школьникам. Возьмем наугад «рассуждения» из романа.

«Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти владычество фразы». Это написано за 40 лет до наших дней и не лишено глубины.

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с Победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Думается, не лишены глубины и эти как бы обращенные к нынешним дням строки.

Глубоки и его рассуждения о христианстве, без которого не понять тысячелетнюю отечественную историю, за этим стоят глубины духовной культуры — Дионисий, Покрова на Нерли, Толстой, Достоевский, Флоренский, Вернадский.

Евангельская тема решается поэтом удивительно порусски — «с морозом, волками и темным еловым лесом».

Поэт понимает Христа как новое, как поворот в истории, когда «человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти». «Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий

собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека... поднимала... не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины...»

Христианство для поэта — человечность, духовность. В наше время, когда идет публицистическое разоблачение Сталина, важно философское осмысление его палачества Пастернаком. Как-то в беседе поэт отнес Сталина к деспотам «дохристианской эры человечества», типа Ирода, «оспою изрытых Калигул».

Отсюда такое внимание к теме христианства — и в прозе и в стихах.

Роман трудночитаем, это — антибестселлер, но в мировой литературе мало страниц, равных по силе кинематографичности описания смерти героя, который задыхается в плетущемся трамвае. Его то нагоняет, то отстает от него фигура женщины — жизнь, смерть, судьба?..

Зачем-то Урнов пытается подпереть свое непонимание романа, ссылаясь на второстепенных западных коллег. Для меня авторитетнее оценка Альбера Камю: «Несравненная книга, которая далеко превосходит всю массу литературной продукции мира. Этот большой роман о любви не является антисоветским, он — всеобъемлющ...»

Сегодня по-новому актуально расцветают метафоры «Гефсиманского сада» из романа. Общественные и политические деятели мира, ища взаимопонимания, повторяют его мирноносные строки:

Спор нельзя решать железом,  
Вложи свой меч на место, человек.

И не случайно одновременно в сознании возникает давняя идея Пастернака:

Он управлял теченьем мыслей  
И только потому — страной.

Это самая современная, единственно необходимая формула для человечества — общество должно быть направляемо духовным сознанием.

Муза Пастернака общечеловечна. Комиссия по литературному наследию поэта обратилась в ЮНЕСКО с предложением объявить 1990 год — годом Пастернака.

Не хочу занимать страницы «Правды» литературоведческими исследованиями ритма романа, метафор, чувства природы, философии. Для этого есть литературные издания. Страницы газеты необходимы для актуальной борьбы за экономическую революцию, борьбы со «свинцовыми мерзостями» нашей жизни, за демократизацию, за честь и достоинство человеческой личности.

Я за разные точки зрения. Но в мир гения, как в храм, надо входить с трепетом.

Вл. Гусев

## ДУМА ОБ ИДЕАЛЕ

Как и многие произведения, публикуемые у нас ныне, роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в Европе и в Америке прочитан давно. И на иностранных, и на русском языках. Достоинства и недостатки этого произведения и иных произведений столь же давно проанализированы серьезными и достаточно объективными критиками, хотя влияние конъюнктуры и там, действительно, имело место. Ни для кого не секрет, что этот роман, как опять-таки и иные из этих произведений, многие давно читали и у нас в стране. Все это придает нашим спорам об этих произведениях оттенок досадного анахронизма, а иногда и комизма. И, как и следовало ожидать, все резче назревает сам вопрос, так сказать, о методике отношения к этим произведениям. Должны ли мы сначала кричать «ура», а потом уж разбираться, как советуют наши «прогрессивные» критики? Должны ли мы тотчас же холодно «разбираться», что и психологически трудно после стольких лет молчания или простой клеветы в адрес этих произведений? Должны ли мы в случае сомнения просто молчать?

Кажется, «серьезные люди» в основном выбрали именно последнюю позицию. Почему так? Обвинить их трудно. Они не только заведомо решили молчать, они еще видят примеры тех, кто «высунулся». Их тут же «полили» с трех-

четырёх сторон: «А не показывайся с видом объективности».

Однако голос независимый и мыслительно, духовно зрелой, то есть, на мой взгляд, истинной интеллигенции все равно должен быть услышан в этой полемике, как и вообще в полемике и «спорах о путях», что идут в стране. Эта интеллигенция приобрела за последние 20—30 лет громадный духовный и социальный опыт и исподволь, изнутри, а не извне страны и ее культуры участвовала в подготовке тех процессов освобождения мысли и инициативы, которые сейчас столь трудно идут в стране. Почему трудно? Ну, вы понимаете, тут не место подробностям. В частности, трудности состоят и в том, что, при отсутствии культуры гласности и свободы печати, многие ныне говорят глупости не от своего лица, а от лица господ бога, абсолютной истины или как минимум от лица классиков философии, литературы и пр. Особенно не везет последним.

Таковы ощущения этой «нейтральной» интеллигенции, которая на деле не нейтральна, а просто принцип глубины и истины во что бы то ни стало предпочитает принципу какой бы то ни было литературной лжи. Новая ложь против старой лжи — это еще не истина. Ложь «во имя» блага — это все-таки ложь, а мы эту ситуацию не раз видели в нашем веке: она мстит за себя. Короче, без принципа глубины не силен ни один процесс. Эти люди не за крик, а за глубину. И их не проведешь на мякине. Вы, например, сколько угодно можете говорить, что художественность теперь не важна, теперь, мол, не до нее. Но что есть художественность? Это стилистические фиоритуры, что ли? Да нет. Это чувство той самой глубины Жизни в произведении, без которой оно не действенно... Это чувство глубины во всем, оно-то лишь и бывает признаком нормального процесса. Процесса, обеспеченного жизнью.

Д. Урнов, мне кажется, во-первых, говорит именно

слишком категорично и не избег упрощенно-политического контекста при толках о претензиях к доктору Живаго как персонажу. Это, так сказать, тактическое, частное. Но я давно знаю Д. Урнова и знаю об одном его убеждении, которое вызывает сомнения глубокие, стратегические. Он вообще недооценивает личностного в узком смысле, рефлексивного, словом, «интеллигентского» начала в литературе и, в частности, недооценивает так называемого «лишнего человека» в русской литературе. Искренность Д. Урнова не подлежит сомнению, но суть есть суть. Живаго — несомненно из этой плеяды, давшей в крайних своих вариантах идеальных Мышкина и Болконского и «отвратного» мелкого беса Передонова из романа Ф. Сологуба под тем же названием. Причем не надо думать, что это всегда, так сказать, интеллигент по профессии. Черты того же мы можем видеть и в Самгине, босяках и рабочих Горького, и в грандиозном образе Григория Мелехова из «Тихого Дона».

В чем сущность «лишнего человека» — этого традиционного персонажа русской литературы со времен Онегина и Печорина?

Он лично может быть хорош или плох, он порой «лишний» в житейской практике, но он прямо или косвенно признает над собою власть именно абсолютного духовного идеала и сознательно или подсознательно соотносит себя с ним. Таков и Живаго. Ему противны житейские игры, стаи и кланы — ему дорога свобода и тайная независимость, ощущение высшего идеала. Актуальное ныне чувство. Я не уверен, что стилистически и чисто изобразительно «Доктор Живаго» — высшее произведение великого лирика Пастернака (Пастернака, а не поэта Живаго), к тому же автора мощной поэтической прозы в виде «Охранной грамоты» и особенно «Воздушных путей». Как не уверен в этом, честно говоря, и никто из серьезных людей, несмотря на все крики и натиск. Имея ныне внове перед глазами грандиозную прозу в



лице лучших произведений Набокова, «Котлована» Платонова, «Мастера и Маргариты» Булгакова, имея неизблемый «Тихий Дон» и лучшие произведения Белого, Зощенко, Бабея, лучшее из Олеси, Малышкина, Пильняка и иных (о которых я писал положительно еще в те времена, когда это было не столь престижно и безопасно, как ныне это моим «оппонентам»), мы можем об этом говорить спокойно. Однако данное произведение Б. Пастернака традиционно в хорошем смысле этого слова. Вообще культура — это традиция, никто, при всех благих замыслах, не в силах все сломать, перечеркнуть и начать заново: прошлое — все равно за нами, мы все за него ответственны и не можем уйти от него. Так вот, в основе романа «Доктор Живаго» и в основе его главного персонажа я вижу традиционную для нашей литературы думу об идеале в труднейшей для него обстановке, желание напомнить о свете и гармонии мира в условиях мглы и вихря. Это органично, и это ощутимо. Этого не то что не видит, а не хочет видеть Д. Урнов, у которого своя концепция, интересная, положим, в контексте сборника «Контекст» и вообще интересная как какое-нибудь такое-то по счету мнение о романе (что знает и о чем косвенно говорит и сам Урнов), но не в нынешнем напряженном и остром контексте.

«Доктор Живаго» — роман о потере идеала и о попытках обрести его заново. Задача решается на фоне надрывнейшей истории нашей страны в этом веке. Роман посвящен вопросам религиозным и в целом духовным, сама текучка быта и его ужасы выступают как фактор суеты, лжи в этом мире. Роман не является романом как таковым, он сделан в форме то ли жития, то ли жизнеописания, и в основе его — некая аскетическая идея, которая формулируется то явственней, то глуше, то просто подразумевается. Вследствие всего такого мы постоянно чувствуем упомянутую исходную установку автора — скорее моральную и религиозную, чем художественную. Причем «художественное» не

перекрывает по ходу дела все исходные установки, как это случается в романах Толстого или Достоевского, а, наоборот, все время сознательно, строго утесняется — автор не дает себе воли; вот почему «стилистика» тут — не самое сильное. Странно было бы думать, что Б. Пастернак, громадный и тончайший стилист, тут не ведает, что творит; он, конечно, ведает. Он несомненно сознательно подавляет свои изобразительные возможности и выдвигает на первый план то, иное: «Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал, что мог, для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает. Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы. Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу. Состав жильцов в доме переменялся. Демина была на фронте, управляющей Галиулиной Юрий Андреевич не застал. Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это — тиф. Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довели до дому, кое-как примостивши на дровах». Это, видите ли, целая глава. Здесь сообщается об ужасе жизни, но именно сообщается. Ни одной краски; ни одного звука музыки. И это — Пастернак... Да, это стиливая, духовная установка. Да, это нарочно. Однако «нарочно» — это еще не «оправдание» для стилиста.

Поиск идеала, духовной линии поведения в страшном веке остается жестким и аскетическим. Однако это поиск идеала, а не что-то иное, и об этом следует помнить и торопливым эстетам, разносящим роман с позиций пастернаковской же мощной и сочной стилистики лирического накала, и тем, кто объявляет, что это просто скучно, и тем, кто до сих пор обращает к автору разнообразные социологические, национальные и политические упреки. «А для того чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает мало. Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства. Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав...» Строки характерные. Таков пафос этого произведения. Не тот конкретный пафос, который выражен именно в этих строках, а тот общий пафос, который стоит и за ними, и за другими строками. С позиции идеала. С позиции личной свободы, без которой немислим никакой идеал, а именно ее-то и ущемляют... Здесь, в этих строках, есть мудрость, хотя мало поэзии; однако мы уже объяснились об этом.

Что касается истерик и тактик вокруг всего этого, то, мне кажется, они просто сомнительны по своей атмосфере. А доказывать, что ж доказывать! Ныне никому ничего не докажешь. Каждый есть как он есть. Как бы он ни хитрил при этом.

## НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

(Фрагменты из статей и рецензий)

**Алексей Ерохин**

### НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕСТИ

...Роман «Доктор Живаго» вышел в свет.

Отрубленные ветви приживаются с трудом. Но здесь не тот случай. Эту прекрасную ветвь древа российской литературы отрубить не удалось — только завесили на время грязным тряпьем.

И теперь особенно становится ясно: всю жизнь Борис Леонидович Пастернак словно творил одну огромную книгу, в которой мир человеческой личности озаряется небесным светом, пронизывается атмосферными ветрами и делится плотью с горячей землей, книгу, в которой человек и эпоха существуют в нераздельном радостном и трагическом единстве, книгу, создаваемую во имя правды и красоты, чести и совести.

*«В мире книг», 1988, № 4*

**С. Елкина**

### КТО ОН, ДОКТОР ЖИВАГО?

⟨...⟩ Очевидно одно: основное в романе — не история жизни, а история духа главного героя Юрия Андреевича Живаго, его философское понимание жизни как Жизни и человека как Личности.

Критически взглядываясь в происходящее, Живаго видит, что революционным переменам сопутствует пренебрежение духовными ценностями человека во имя материального равенства, растет «владычество фразы», утрачивается вера в цену собственного мнения. (Не об этих ли симптомах неблагополучия говорим мы теперь?)

⟨...⟩ Трудно согласиться с академиком Д. Лихачевым, что не следует «находить за описаниями бедствий осуждение чего-то, их породившего». Более того, представляется, что и сам замысел романа у автора возник в тесной связи с поиском причин этих бедствий (не случайно в «Эпilogue» романа он первым из советских писателей заговорил об ошибках коллективизации, о сталинском терроре, лагерях).

⟨...⟩ Доктор Живаго ценность жизни и человека измеряет с позиций вневременных, «вечных», с позиций Высшего идеала. Он ни с кем и ни с чем не борется. Принимая историю как данное, просто включает или не включает явления действительности в орбиту своей жизни. Он не «белый» и не «красный», отсюда становится понятна сцена сражения партизан с белогвардейцами, которая так возмутила критика Д. Урнова. Живаго восхищается мужеством не врага, а юнца гимназиста, абстрактного человека.

Когда история окончательно сжимает его в своих тисках, он ищет противостояние хаосу в гармонии любви, природе, творчестве. Д. Урнов не хочет понять логику поступков Живаго, он судит о них с позиций собственной логики. ⟨...⟩

*«Медицинская газета»,  
8 июня 1988 г.*

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД РОМАНОМ

⟨...⟩ Над произведением Б. Л. Пастернака следует скорее размышлять, а не столько постигать его. Естественно отношение к этому роману как к дневнику, где интересны отдельные высказывания, те или иные наблюдения, разрозненные мысли, некоторые замыслы и намерения. Роман Пастернака именно — интересный. Не более того, но и не менее. И это потому, кстати, что значимо в нем — не целое, а — частности; не весь он сплошь, как живое и неделимое явление художественной правды, а — лишь фрагментарно, как материал для раздумий, как отдельные свидетельства авторской искренности. Ко многому в нем читателю поэтому приходится относиться не безусловно, а — условно, имея в виду одно лишь авторское намерение, а не само его реальное осуществление в романе. ⟨...⟩

Д. С. Лихачев предлагает видеть в произведении Пастернака не роман, а — «роман — лирическое стихотворение»; не прозаическое, а — «поэтическое (разрядка моя. — П. Г.) отношение к действительности»; «род автобиографии». ⟨...⟩

Нет, нельзя согласиться с соображениями Д. С. Лихачева: «прозаическое» и «поэтическое» для него — просто эвфемизмы для «неудачного» и «удачного» в романе Пастернака. Это просто вежливо-предупредительная защита романа, но, скажем прямо, защита неловкая. Лучше было бы честно признать: да, есть в романе и достоинства, но есть, увы, и недостатки.

Д. С. Лихачев вывел из-под критического обстрела роман. Вернее, хотел вывести. Ведь чего же греха таить, роман как роман Пастернаку и действительно не во всем

удался. Но тогда, может быть, удался в совершенстве роман — как «род автобиографии»?

Отчасти да. Но только отчасти.

И еще: а так ли уж необходимо, чтобы всегда и непременно для успеха произведения была в наличии художественная удача? Ведь и в поражении тоже есть свое — не менее значимое — величие, свой — не менее важный — урок...

Первое и основное, с чего хотелось бы начать и что следует оценить сразу, в полной мере и по достоинству, — честность; честный роман, честный, мужественный автор. <...>

Пастернак способен многое — если не все — угадать, прочувствовать, постигнуть, интуитивно пережить, но очень мало способен — в романе — этот внутренний свой опыт и знания показать, так, чтобы это почувствовали, прочувствовали, постигли и читатели тоже, чтобы им не пришлось об этом только узнавать — от автора через персонажи. <...>

«Живаго — это личность, как бы созданная для того, чтобы воспринимать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь», — пишет Д. С. Лихачев.

А возможно ли такое восприятие вообще, принципиально? Возможно ли действительно отказаться от оценки, от объяснений, от истолкований? — «...Не объясняет, а только показывает?»

В том-то и дело, что Пастернак очень мало и неумело показывает. Он, как правило, рассказывает (зачастую вместо персонажа), оповещает. Да, и еще вот это — «не вмешиваясь». Д. С. Лихачев поясняет, что Ю. А. Живаго так положено — «по международным конвенциям», он, дескать, лицо «официально нейтральное»: военврач. Оттого, мол, и не вмешивается. Но позвольте, а познает-то он, думает и чувствует по каким конвенциям?.. А поступать по каким таким «конвенциям» он обязан? <...>

Роман расчислен почти математически, — герои его не

могут даже шагнуть свободно, а повсюду натываются на авторский промысел. Тут и примеров не надо приводить: куда ни ткни. Чего стоит один Евграф — этот таинственный сводный брат Живаго, выручающий Юрия Андреевича то в революционной Москве, то в далеком Юрятине, то вновь в Москве, мало того, могущий «так или иначе» устроить судьбу его семьи в Париже и, наконец, разыскавший однажды на фронте дочь Живаго от Лары... Ну, а встречи с Ларой самого Юрия Андреевича? — Фантасмагория! И совершенно бесконечная. Просто какой-то деспотизм искусственности.

Буквально каждое «ружье» здесь «стреляет», но почти все, как со стены сорвавшись, — «в потолок», или как будильник, однажды сломавшийся у Живаго, взял да ни с того ни с сего и зазвонил...

И нет здесь противоречия с математической выверенностью: ведь только в живом — все и всегда на месте, а в искусственном — только с одной стороны, той самой, которая рассчитана автором. <...>

Живаго во всех сменах и эволюциях своих — типичный интеллигент. Как тот же Пьер Безухов, Дмитрий Нехлюдов... И не народный, разумеется, а (не люблю этого слова, но не подберу другого) — индивидуалистический, так сказать, интеллигент-одиночка. Это вовсе не в осуждение ему сказано, но будем честны до конца: Д. С. Лихачев пишет о «высокой интеллигентности». Добротная, конечно, но вполне типичная *средняя* интеллигентность. Как по глубине мысли (ведь не П. А. Флоренский, не В. В. Розанов, не С. Н. Булгаков и т. д. перед нами), как по таланту (не И. С. Шмелев, не А. Платонов, не А. Блок, не М. Булгаков...), так и по судьбе (не М. М. Бахтин, до сих пор, кстати, так и не реабилитированный, не А. Ф. Лосев...).

Кстати, «математика» (все эти совпадения и «скрещенья») никакого существенного — смысловнесущего — отношения к роману (к мысли, его одушевляющей)



не имеет... Что, например, дают для его уяснения сами факты встречи Живаго с глухонемым в вагоне, с Антиповым-Стрельниковым, с Васей Брыкиным и т. п. — не перечислить?.. Какую — художественную — значимость имеют эти события в романе?..

Не покидает ощущение написанного по уже написанному. И слабее, невнятнее. Все же этому роману, в отличие, скажем, от произведений А. Платонова или М. Булгакова (тоже не всех), необходимо было появиться вовремя, в свое время. И сам Пастернак это чувствовал, понимал, ждал и жаждал своевременной публикации. Сейчас же роман — грустно! — акт личного мужества Бориса Леонидовича, факт истории нашей литературы, событие среди журнальных публикаций, но — как явно оказывается — все же не урок художественной правды. <...>

Очень о многом, если не обо всем, в романе — в художественном отношении — можно было бы повторить слова Юрия Андреевича, занесенные им в дневник:

«Я не иду дальше сказанного... Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей, случайно подвернувшейся, судьбы в систему. Наш пример спорен и не пригоден для вывода».

Живаго — не главный, Живаго — единственный герой у Пастернака.

<...> Веденяпин. Вот он излагает свои воззрения. Главное из них: история — это преодоление смерти, для которого «требуется духовное *оборудование*» и «*данные*» для которого содержатся в Евангелии: во-первых, любовь к ближнему; и, во-вторых, «главные *составные части* современного человека» — идея свободной личности и идея жизни как жертвы.

Следует согласиться и подтвердить: эти три идеи (и де и) пронизывают мировоззрение всего романа, обнаруживая свои взаимосвязи и подспудную внутреннюю логику в самых, казалось бы, неожиданных мыслях персонажей.

Свободная личность — вообще для художественного мировоззрения романа — некая последняя и единственно надежная опора. Живаго рассуждает на фронте о народе: «...в России немислима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ.

Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами. Записывают «наблюдения», изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый Даль, *такой же выдуманный*, лингвистическая графомания словесного недержания».

Другими словами, из этого монолога становится ясно, что личность рождается как результат отхода от народа. Ведь если нет народа, то есть — только — свободная личность.

Живаго вторит Гордон:

«Что такое народ?.. Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самую красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародности и, прославив, увековечивает?.. Да и о каких народах может быть речь в христианское время?.. в царстве Божиим нет эллина и иудея... в том сердце задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности... Христианство, мистерия личности...» и т. д.

Уже здесь, через персонажа, приоткрывается почва, рождающая подобные взгляды: тайный страх утраты, *безвозвратной* утраты с в о е й национальности (окончательный отказ от нее), отдача себя целям и задачам другой национальности (растворение в них). И — в то же время — невозможность принять свою изначальную идею, своей собственной национальности (выродившуюся). Страх утраты собственной народности при явной невозмож-

ности принять ее идею и слиться с нею. Остается — личность, как последняя спасительная опора, или — всенародность, но по тому же рецепту — через одинокую личность. Понятна становится отсюда и идея жертвы, жертвенность, ее психологическая подоснова в этих складках мысли.

Понятно теперь и то, почему вторая заповедь подменила у Веденяпина первую: любить Ближнего (именно с большой буквы) — вместо: любить Бога...

Все три идеи глубоко центрированы.

О людях этого круга идей писал Ф. М. Достоевский: «Все это люди отвлеченные, из тех, у которых все образование и европейничанье состоит в том, чтоб «ужасно любить человечество», но *лишь вообще*. Если же человечество воплотится в *человека*, в *лицо*, то они не могут даже стерпеть это лицо, стоять подле него не могут из отвращения к нему. Отчасти так же у них и с нациями: человечество любят, но если оно заявляет себя в потребностях, в нуждах и мольбах нации, то считают это предрассудком, отсталостью, шовинизмом» (подчеркнуто Достоевским. — П. Г.).

Следующие слова Гордона (разделяемые Живаго и в конце концов принадлежащие, конечно, самому Пастернаку — по глубине силе, блеску и прямоте мужества) настолько хороши, что — на мой взгляд — стоят многого, если не всего, в романе, а потому я и рискну привести их целиком (оправдывая цитирование свое тем, что так поступает и сам Пастернак, в сущности, цитирующий себя через персонажей):

«И мы говорили о средних деятелях, *ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом*, о второразрядных силах, *заинтересованных в узости*, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью возло-

жена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению!.. *Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости?* Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. *Будьте со всеми.* Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

Повторяю: по глубине, силе и мужеству мало подобных строк даже в мировой литературе. Разве вот только еще у Ф. М. Достоевского, писавшего как раз о той самой мертвящей части народа, которая — подчиняясь «властителям его дум» — обрекает остальную его часть на «необходимость оставаться народом и только народом». Достоевский писал: «Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную идею от своих основателей и *подчиняясь* ей исключительно в продолжение нескольких поколений,

впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особое от человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное человечеству, *как целому*, — мысль эта верна и глубока».

Трещина в нации: те, кто остались и остаются верны исключительно «прежней узости и прямолинейности», и потому-то «вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя», а с другой стороны, те, кто принял «поправку этой идеи, расширив ее в всечеловечность» (Ф. М. Достоевский).

Страшная трещина: первые — прорицал Достоевский — «восторжествуют на некоторое время. Это так очевидно, что спорить нельзя: они ломаются, они же заполнили всю Европу; все эгоистическое, все враждебное человечеству, все дурные страсти человечества — за них, как им не торжествовать на гибель миру!» Пастернак, разумеется, предпочел бы остаться среди тех, над которыми восторжествуют, но не забудем, восторжествуют все же лишь на «некоторое время». <...>

Не буду лукавить: мне — с теми же самыми действующими лицами (интеллигент, художник, народ) — больше по душе платоновский символ: «Любовь к Родине, или Путешествие воробья».

*«Вопросы литературы», 1988, № 9*

## Вячеслав Воздвиженский

### ПРОЗА ДУХОВНОГО ОПЫТА

О своем содержании роман Пастернака словно предупреждает с первой же фразы: «Шли и шли и пели «Вечную память»...» И тут же мы читаем: «Кого хоронят?»... «Живаго». <...> Так автор в первом же абзаце дает

нам ключ ко всему, что произойдет в книге. Она действительно станет «Вечной памятью» своему герою и тому миру, к которому он принадлежал. На протяжении романа новые времена, разразившаяся в стране революция будут постепенно «хоронить» человека по имени Юрий Андреевич Живаго.

〈...〉 «Доктор Живаго» — не вполне обычная проза. Он не будет для многих легким и простым чтением. Прежде всего потому, что Пастернак возрождает взгляд на мир, в свое время решительно отвергнутый и широкому кругу современников не слишком понятный, — представления о ценности человеческого существования самого по себе. Но еще и потому, что роман не так прост по форме, каким представляется на первый взгляд. Казалось бы, Пастернак следует хорошо знакомой структуре традиционного реалистического романа. Перед нами разворачивается жизненная история сравнительно небольшого круга лиц, нескольких семей, соединенных отношениями родства, любви, личной близости. Их судьбы оказываются прямо связаны с разворотами исторических событий, с крутыми сдвигами в судьбах всей страны. Внешне все выглядит так же, как в «Войне и мире» или, допустим, «Тихом Доне». Однако этот внешний облик обманчив. За ним кроется, по сути, модернистское (отнюдь не в бранном смысле), остросубъективное произведение, преломляющее жизнь по художественной, точнее, поэтической воле автора.

Далеко не каждый приемлет такую форму, и это его право. Многим, вероятно, будет не хватать в романе «толстовской» естественности повествования, могут восприниматься как помеха высокий уровень условности, искусственность многих речей, характеристик, ситуаций, стечений обстоятельств. Однако непосредственное, личное восприятие не может, не вправе заслонять для каждого незаурядность романа, его редкую художественную цельность и огромную содержательность — все то, что уже обес-

печило «Доктору Живаго» место в мировой литературе и позволит ему по праву войти в литературу отечественную. Роман действительно сложно пересоздает действительность. Как бы мы к этому ни относились, такова его образная природа, таков, говоря пушкинскими словами, художественный закон, самим автором над собой установленный. И этому закону Пастернак следует безупречно, в чем цельность книги.

Содержание романа — это, в сущности, духовная история самого Бориса Пастернака, представленная, однако, как история жизни другого лица, доктора Юрия Андреевича Живаго.

При этом в несколько лет, прожитых доктором Живаго в разгар революции, Пастернак вмещает свой жизненный и духовный опыт за гораздо больший срок, чуть ли не за все послеоктябрьское время. В переживаниях, раздумьях, страданиях героя романа отразился очень широкий, протяженный во времени круг обстоятельств. Автор замечает об одной из подробностей, запечатлевшихся в памяти Юрия Живаго: «Может быть, так оно и было, а может быть, на тогдашние впечатления доктора наслоился опыт позднейших лет». Именно так и происходит в романе. Когда доктора Живаго, читавшего в 1921 году лекции на медицинских курсах в Юрятине, начинают обвинять в «идеализме, мистике... неошеллингианстве», то это, конечно, отзвук иных, более поздних времен, когда с середины 20-х годов действительно стали шириться гонения на гуманитарную интеллигенцию и любое выходящее за пределы политграмоты суждение клеймилось как идеализм и мистика. Или когда в те же месяцы 1921 года в том же Юрятине Юрий Живаго с Ларой со дня на день ждут почти неотвратимого ареста, в этом опять-таки выразился опыт иных лет — недоброй памяти 30-х годов.

Можно догадаться, почему Пастернак так невнимателен к временным координатам биографии своего героя, к обсто-

ательствам времени. Потому лишь, что ему важны не сами подробности этой биографии, не их точное время и место, а обретенный героем опыт. Ему важно не столько изобразить самую жизнь героя, сколько выразить его отношение к революции, его отношения с революцией. Как уже сказано, опыт Живаго передает опыт самого Пастернака, его отношения с созданной Октябрем действительностью. Именно здесь эпицентр романа. Это не психологическая проза, не живописное полотно, а повествование, построенное скорее по законам лирического самовыражения. Оно как бы разлито по роману, пронизывает текст, проникает в речи, раздумья, решения действующих лиц — не одного Живаго, но и других героев, от Лары до Гордона и Дудорова. Благодаря этому за беспощадной бурей истории, за гонимыми этой бурей судьбами предстает именно духовный опыт «страшных лет России».

Тут нужна одна оговорка. Когда речь идет о самовыражении, то дело не в самом только авторе, не просто в самом Борисе Пастернаке. Как ни незаурядна его личность, как ни много она в себя вместила, в романе выступает не просто она, не просто ее духовная история — в нем выступает независимая человеческая личность вообще в ее отношении с революцией, не утратившая ни «нравственного чутья», ни «веры в ценность собственного мнения», способная выстрадать, выразить именно «собственное мнение» о событиях, которые подавляют, гипнотизируют почти всех своим величием и беспощадностью. Это личность, которой было дано внутренне противостоять и их напору, и их гипнозу.

В этом, безусловно, художественный нерв романа, его эстетическая природа. <...>

Личное, личностное, субъективное преобладает в повествовании. Это попытка создать эпос средствами скорее лирическими. Героев «Доктора Живаго» просто нет смысла сравнивать с известными образцами. Пьера Безухова или Наташу Ростову, Аксинью или Григория Мелехова мы воспринимаем в их физическом, зримом облике, видим,



слышим, осязаем, ощущаем живую особенность их натур. Иначе с героями Пастернака. Они зримого облика не имеют; это образы, построенные из другого материала. Для Пастернака его герои <...> это прежде всего носители духовного опыта и раскрываются именно в сфере духовной. Зримая плоть их характеров (да и вообще плоть реальности) интересует Пастернака гораздо меньше.

Отсюда более высокий, чем обычно в прозе, уровень условности. Он в романе Пастернака скорее таков, каким бывает в лирической поэзии. Текст просвечен как бы чисто поэтической символикой.

<...> И автор, и Живаго воспринимают революцию не просто как совершившийся факт, но видят величие происходящего, сознают его справедливость. <...> Может быть, главное именно в том, что Пастернак дает нам понять, какой ценой обошлась революция, какими потерями пришлось оплатить эту «великолепную хирургию», «ахнутую в самую гущу» продолжающейся жизни. И сама судьба главных героев, и их трезвые суждения о происходящем демонстрируют меру и содержание этих потерь. Автор вместе с Юрием Живаго видит погибших в борьбе и погибающих без вины, разбросанные семьи, разбитые судьбы, тяжкие материальные лишения и разрушение нравственных норм человеческого общежития, всеобщую «утрату веры в цену собственного мнения» — в ценность личности каждого. <...>

П. Горелов выбрал удобную форму — фрагментарных размышлений, не предполагающих разбора и доказательности. Основной его метод — постулат и назидание. Перед нами реестр претензий к Пастернаку и его герою, но не вытекающих из анализа, а предъявляемых как готовое суждение. Заявляется, например, что доктор Живаго, а подразумевается, что тем самым и его создатель, — это «не П. А. Флоренский... не А. Платонов... не М. Булгаков», а «типичная средняя интеллигентность». Заявляется — и всё, без малейших доказательств, а стало быть,

и опровергнуть нельзя, раз никак не доказывается. Действительно, очень удобно. <...> Даже не пытаюсь проникнуть за обманчивую внешнюю оболочку «Доктора Живаго» к его действительному образному содержанию, П. Горелов принимает — или выдает — как раз внешний слой романа за его существо, демонстрируя «право на необязательность». <...>

Неточность, как бы приблизительность деталей и психологические натяжки можно найти в любой главе романа. Тем не менее С. Залыгин совершенно прав: «Есть два вида фактов: факт жизни и факт отношения писателя к этому факту. И это отношение не менее интересно для читателя». Но П. Горелов видит за прочитанным лишь сами «факты жизни» и не желает знать «факта отношения писателя» к ним. <...>

Легко заметить, что при всех вольностях мысли и формы эти заметки — лишь имитация непринужденных размышлений, что в действительности автор очень старается. Старания его направлены к определенной цели, и цель эта себя в конце концов обнаруживает. Выдают П. Горелова передержки. Они возникают, как только дело доходит до главного. Первая появляется там, где П. Горелов пробует приписать Пастернаку, будто у него личность «рождается как результат отхода от народа». П. Горелов утверждает: «Живаго рассуждает на фронте о народе: «...в России немыслима эта театральщина» и т. д. Это прямая подтасовка. Доктор Живаго в этих отрывках не «рассуждает на фронте о народе», а рассказывает о приезде Николая II на фронт, и его слова о театральщине относятся к монархической фразеологии: «он (царь.— В. В.) должен был произнести что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе». Вот что Юрий Живаго называет театральщиной, а не самую идею народности, как старается ненароком внушить читателю П. Горелов. Точно так же замечание доктора о журналистах, которые «строят новую теорию народной

души», совершенно четко отнесено лишь к волне квасного патриотизма, поднявшейся в российской печати первых лет мировой войны.

Через несколько абзацев П. Горелов приводит пространную цитату — монолог Гордона «к вопросу о евреях» (а если быть точным, то не столько о «еврействе», сколько о «средних деятелях» любой нации) и опускает в нем всего одну фразу. Казалось бы, допустимая операция, но она-то и меняет многое в содержании монолога и столь же многое объясняет в намерениях П. Горелова. Вот эта фраза: «Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей?» Она показывает, что устами Гордона Пастернак говорил здесь о фундаменталистских, проще говоря, националистических элементах всякой нации, о губительных для любой нации последствиях их ограниченности, их бездарной и однообразной проповеди. Евреи в данном случае — лишь один из примеров, хотя для Гордона — а может быть, и для самого Пастернака — наиболее близкий и убедительный, в чем нет греха. П. Горелову же надо, чтобы читателю показалось, будто речь идет именно и только о еврейском национальном самосознании, о его губительности. Он тут же с помощью цитаты из Достоевского развивает эту «мысль»: речь начинает идти о губительности еврейского национального самосознания уже не для самой еврейской нации, а для всей Европы и всего человечества. За этот, им самим вмонтированный в роман, мотив П. Горелов снисходительно одобряет Пастернака, он находит в адаптированных им строках романа «прямоту мужества». Возможно, это и произведет впечатление на доверчивых. Ведь сколько тех, кто только и ждет, как бы скорее довериться знакомым и желанным мотивам.

Между двух этих передержек и расположена главная мысль П. Горелова, главная цель его стараний — утверждение, что почвой, рождавшей образы «Доктора Живаго», служил «тайный страх... безвозвратной утраты своей наци-

ональности». Почва эта, по выражению П. Горелова, приоткрывается «через персонажа», но стоит на ней, естественно, сам Пастернак, еврей по национальности. Правда, сам автор так прямо этого не говорит, не такова избранная им манера: он вообще по мере возможности старается выразиться так, чтобы не взять на себя ответственность за сказанное. Но от очевидного смысла данных его суждений не уйти. Это, повторю, и есть эпицентр заметок П. Горелова. Именно такого сорта предвзятость и ведет его мимо действительной художественной природы романа, мимо настоящих его достоинств и издержек.

*«Вопросы литературы», 1988, № 9*

## **С. Пискунова, В. Пискунов**

### **«ВСЕДНЕВНОЕ НАШЕ БЕССМЕРТИЕ»**

⟨...⟩ Самым поразительным, самым ослепительным читательским впечатлением оказывается (для нас, во всяком случае) чувство счастья и освобождения. Оно возникает с первых же страниц «Доктора Живаго» рядом с совсем еще не ужасными ужасами — простыми детскими страхами ребенка, всматривающегося в бушевание вьюги за ночным окном, — крепнет и усиливается к концу книги, параллельно и по мере нарастания ужасов заправдавших. Мы вдруг отчетливо осознаем: повествуемый о загубленных жизнях, пущенных под откос человеческих судьбах, написанный в глухие годы, роман «Доктор Живаго» вышел из-под пера счастливого, внутренне свободного, духовно раскрепощенного человека, художника, отчитывающегося в своих помыслах, делах и поступках только, как говаривали в старину, перед Богом и совестью, могущего сказать о себе по-пушкински: «Ты сам свой высший суд».

Было бы ошибкой прочесть «Доктора Живаго» исключительно в одном плане — как очередной вариант повествования об интеллигенции и революции, рассматривая его в привычном ряду книг о «хождении по мукам» российского интеллигента. <...> Насыщенный бытовыми деталями, испещренный упоминаниями о реальных исторических событиях художественный мир «Доктора Живаго» простирается за пределы исторической реальности, реальной истории; перед нами — символический роман в том широком значении слова «символизм», которое вкладывал в него сам Пастернак и считаем возможным вложить мы, роман-притча, даже, если угодно, роман-миф.

<...> Роман не теологический, но и не исторический, не возвышенная аллегория, но и не доподлинная летопись событий, — произведение о смерти и бессмертии, вечных загадках бытия, кардинальных проблемах человеческого существования, которые, конечно же, обнажаются на разломах истории.

<...> Помимо «истории» в нашем понимании (назовем ее «историей-временем») в романе присутствует другая история: «история-вечность», как ни парадоксально звучит такое словосочетание. Именно эту, «вторую», историю имеет в виду Пастернак, когда в автобиографическом рассуждении о «Сестре моей — жизни» рядом с ощущением истории-повседневности говорит и о «чувстве вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза». И если мы, читатели «Доктора Живаго», не проникнемся этим чувством истории-вечности и попытаемся все свести к истории-времени, то решительно ничего не поймем в романе. Лишь в контексте Вечности жизнь человека и всего человечества получает для Пастернака смысл, искупление. Именно в сакральной истории оказываются оправданными все те неисчислимые жертвы, которые из века в век приносит человечество на алтарь будущего. И сосредоточена эта история в священном предании. <...>

Время и вечность. Тут произведение Пастернака можно

было бы поставить не только в контекст истории русского романа, но и вспомнить о творениях мировой классики, которые по-разному входили в жизнь писателя как раз в годы создания «Доктора Живаго», будь то «Божественная комедия» Данте (перевод М. Лозинского, удостоенный Сталинской премии в 1949 году, Пастернак читал внимательно и ревниво) или «Фауст» Гёте, переведенный самим Пастернаком. Но если у Данте вечность перенесена в потусторонний мир, в инобытие, а у Гёте завязка всего действия происходит на «небесах», где Бог и Дьявол вступают в философский диспут о природе человека, то у Пастернака — и в этом вся загвоздка! — вечность не составляет какого-то особого мира, она «сходит на землю», растворена в земном и материализована в нем.

«Доктор Живаго» — роман, в котором события 1917 — 1920-х гг. увиденны не только в зеркале Вечности, но и сквозь призму 30-х — начала 50-х гг. (роман с им в о л и ч е с к и завершается эпизодом, датированным памятным 1953 годом!). И нам кажется важным задуматься не над тем, сколь Антипов-Стрельников характерная для своей эпохи фигура, сколько над тем, почему одной из основных сюжетных линий произведения является брак Антипова и Ларисы Федоровны, чья миссия в романе — воплощать собой самое Жизнь.

В отличие от Д. С. Лихачева, не без оснований увидевшего в Ларисе символический образ России, мы хотели бы соотнести образ «сестры» Ларисы Федоровны (в момент сближения с Живаго она работает сестрой милосердия в госпитале) именно с «сестрой моей — жизнью», чей истинный путь — гармоническое сочетание стихийности и культуры, тела и ума, раскованного самоутверждения и самоотрицания. Именно этой гармонией пронизана любовь Ларисы к Живаго. Но чтобы обрести ее, Ларисе предстояло пройти через греховную, унижающую ее достоинство связь с Комаровским и — впад в другую крайность — через рассудочный брак с Антиповым, с «Пату-

лей», возвращенным и воспитанным ею самою ради собственного воскрешения, ради освобождения от власти ненавистного Комаровского, который олицетворяет собою грязь и пошлость «страшного мира», разрушенного революцией.

Противопоставив двух самых близких Ларисе людей как два жизненных начала — «волю» и «безволие», Пастернак в конечном счете, однако, отвергает привычные истолкования: по сути, речь идет не о «воле» и «безволии», а о жертве и жертвенности. Различие Живаго и Антипова в том, что Живаго готов принести в жертву себя, искупить чужие ли, свои ли грехи собственной жизнью. <...> Стрельников же, чтобы «полностью отплатить за все», что выстрадала Лариса, чтобы «отмыть начисто эти печальные воспоминания», готов принести в жертву самих жену и дочь, не говоря уже о сотнях других жизней.

<...> Если вспомнить дату смерти Живаго — 1929 год! — и символическую сориентированность романа, то своя закономерность тут явно просматривается.

Произведение, ориентированное на истолкование мира и событий, в нем происходящих, как некоей написанной тайными письменами книги (а образ «мир — книга» — сквозной для всего творчества Пастернака, и поэта, и прозаика), должно содержать в себе немало таинственного, загадочного. И в «Докторе Живаго» действительно много таинственных событий-знаков, образов-намек, мотивов-символов, некоторые из которых мы способны расшифровать (как попытались сделать это мы по отношению к Ларисе), а некоторые и нет. Ведь перефразируя того же Гамлета, следует признать, что «на свете есть многое такое, что и не снилось нашей мудрости».

Например, до конца мы никогда не постигнем источник могущества Евграфа, сводного брата Юрия Андреевича, появляющегося, подобно доброму волшебнику из сказки, всякий раз, когда жизнь доктора заходит в тупик. Можно было бы сказать, что эта вполне условная фигура испол-

няет в романе чисто служебные функции, используется для дальнейшего развития сюжета. Отчасти так оно и есть, но зачем Пастернак с такой настойчивостью наделяет Евграфа внешностью существа, принадлежащего «иному» миру, чертами выходца с Востока («смуглое лицо с узкими киргизскими глазами»), почему Евграф совершает свои набеги на Москву откуда-то из-за Урала, с азиатских просторов? Очевидно, что автор рассчитывает на ассоциативный ряд, связанный с соловьевской идеей панмонголизма, которой отводилось столь существенное место в мифологии «младосимволистов», вплоть до «Петербурга» А. Белого и блоковских «Скифов».

⟨...⟩ Главное объяснение всех «таинственных» совпадений, из которых слагается сюжет «Доктора Живаго», лежит, думается, ⟨...⟩ — в том, как «топографически» устроен художественный мир романа, каков образ пространства в творчестве Пастернака (а что пространство более значимо для него, нежели время, — факт общепризнанный).

Что сводит персонажей романа? ⟨...⟩ Сводит вся и всех единое пространство, не разделенное на отдельные, наособицу существующие миры и зоны. А если и есть в нем качественно различающиеся области (лес и поле, небо и земля, город и деревня, столица и провинция...), то это миры сообщающиеся, переходящие друг в друга, друг с другом соединенные и спаянные. «Мир божий» — общежитийный дом для множества людей, в нем обитающих, так что нет ничего удивительного в том, что их пути то и дело пересекаются друг с другом, ведают они о том или не ведают... Все они между собой в каком-то родстве — прямом, косвенном, а то и вовсе отдаленном, все — в соседстве, все друг с другом соприкасаются, отражаются друг в друге...

Потому-то в «Докторе Живаго» так много персонажей-«двойников», соединенных друг с другом «тайным» сходством, какой-то одной чертой, метой, например, чистотой,



которая роднит «Патую» и подростка Васю — дорожного спутника Живаго по пути на Урал и обратно, Васю и «бельевщицу Таньку» (их рассказы-исповеди о пережитых ужасах стилистически абсолютно тождественны). И если интеллектуалы Гордон и Дудоров воспринимают «Таньку» и ее повесть лишь как грубое перевоплощение духа умершего друга, то читатель, держащий в памяти все, что связано у Пастернака с мотивом «белья» («и воздух чист, как узелок с бельем...»), отнесется к «Таньке» иначе, увидит в ней совершившееся по воле Провидения растворение духа Живаго в народной стихии.

⟨...⟩ Язык природы и «язык урбанизма», язык литературной традиции (та же образность Шекспира) и язык Священного Писания, язык народного заговора и язык философского трактата в пространстве романа вступают в непринужденную беседу, подобно тому как в революционной России «сошлись и беседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания».

⟨...⟩ Становится наглядной и еще одна фундаментальная особенность романа Пастернака — его театральность.

Единое пространство мироздания, вместившее в себя город и поле, Россию и за границу, коровье стойло и Млечный Путь, камень и цветенье,— это в конечном счете пространство сцены, сценические подмости, на которых разыгрывается Драма Бытия.

Пастернаковское олицетворение природы ⟨...⟩ восходит к театральным «личинам» древнего представления. А сколь театральны диалоги и монологи романа, например, монолог Ларисы у гроба Живаго! Пусть читатель, чей слух задет неестественностью речей пастернаковских персонажей, мысленно перенесет все эти «разговоры» на сцену, причем не на сцену чеховского театра, а на сцену барочного или классицистического театра XVII века,— и чувство неловкости и ненатуральности сразу исчезнет. Воистин-

ну кажется, что Шекспир одарил творца «Доктора Живаго» не только гамлетовской темой — но и как бы «отомстил» за то, что поздний Пастернак не захотел принять условно-метафорического барочного стиля многих шекспировских сцен, попытался придать речам его героев разговорное звучание; то, в чем Пастернак своенравно обделил творца «Гамлета», рикошетом отозвалось в прозе переводчика.

Но если рассуждать всерьез, «материалистически», то театральность «Доктора Живаго» имеет тот же источник, что и развернутое сравнение (характерная особенность стиля романа). Этот источник — метафора, косвенное, условно-игровое обозначение того или иного предмета путем неожиданного сближения его с другим, лишь внешне с ним рознящимся.

«Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач, его духа», — писал Пастернак в заметке «Поэтический стиль Шекспира». Но ведь такого же рода «озарением» — обобщением, сводящим воедино разные полюсы бытия, является и театр, эта «зримая метафора жизни». <...> Театральность «Доктора Живаго» — это все та же борьба искусства с силами зла и разрушения, осуществление все той же задачи преодоления смерти, под знаком которой написан роман.

Одним из свидетельств конечной победы создателя «Доктора Живаго» над этими силами является и то, что творческий опыт Пастернака уже достаточно давно стал достоянием нашей литературы. <...> Рано или поздно, но историки современного литературного процесса должны будут найти в себе смелость признать, что целый ряд официально не признанных и недоступных десятилетиями широкому читателю произведений уже стал влиятельным фактором развития советской литературы 60—80-х годов: узкий круг писателей эти книги читал, с ними спорил, на них ориентировался, в узком кругу процесс формиро-

вания традиции и культуры шел, к счастью, своим естественным незарегулированным путем.

Наталья Ивановна в монографии «Проза Юрия Трифонова» очень точно отметила близость — «вплоть до деталей» — стихотворения Пастернака «В больнице» («О господи, как совершенны...») окончательному итогу жизни Антипова — главного героя «Времени и места». Но у Трифонова есть поразительные — «вплоть до деталей» — совпадения и с «Доктором Живаго». Не будем настаивать на закономерности повтора и варьирования фамилий и имен персонажей (Саша Антипов — Паша Антипов, Мигулин — Микулицын, Маркуша — Маркел), вспомним «ударную» финальную фразу «Времени и места»: «Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его...» Это ведь явный отголосок сквозного образа «Доктора Живаго» — Москвы-леса, соединенный (научно выражаясь, контаминированный) с парафразой последней строки «Гамлета» (пастернаковского): «Жизнь прожить — не поле перейти». <...>

Речь идет о процессе творческого усвоения и преодоления опыта Пастернака-прозаика, следы которого можно, на наш взгляд, найти и в последнем романе С. Залыгина «После бури». <...>

*«Литературное обозрение», 1988, № 8*

## А. Кузичева

### ДИАГНОЗ «ДОКТОРА ЖИВАГО»

Допустим лишь одно предположение. Это роман не о русском интеллигенте, его «хождении по мукам» в годы революции и после нее. Но роман о художнике, о творце, писателе в трудные, неизбежные времена перемен в обществе и в искусстве.

Такая посылка необходима, например, для точного, справедливого и полного понимания романа В. Астафьева «Печальный детектив». В еще большей мере она важна и обязательна в разговоре о «Докторе Живаго» Б. Пастернака.

Тогда все происходящее с героем романа — разбег и замедление его судьбы, биографии писателя, автора стихов, рассказов, исследований — предстанет одновременно жизненным путем и напряженнейшим творческим процессом. <...>

Смятение, свет, горение, открытость. Вот что роднит главных героев романа. Вот что необходимо читателю «Доктора Живаго», чтобы понять их, поверить в искренность слов трагического путаника Антипова о Ленине, о революции: «Рядом с ним поднялся огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запыхавший свечой искупления за все бездолие и невзгоды человечества». Вот без чего не догадаться, почему Пастернак выбрал в летописцы сложной эпохи такого художника, как доктор Живаго.

Он воспитан наукой, искусством, укладом жизни прошлого века. Отсюда в романе столько скрытых и очевидных реминисценций из русской классической литературы. Они помогают понять героя, передать его мироощущение человека девятнадцатого столетия. В истории болезни и последних дней Анны Ивановны — отзвуки «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого и повести «Три года» Чехова. Мальчик-комиссар в Мелюзееве тончайшим образом соотносится с Петей Ростовым из толстовского романа. Исчезновение Живаго — с пьесой Толстого «Живой труп».

Финал романа, первое стихотворение Живаго «Гул затих, я вышел на подмости...» с финалом гончаровского «Обрыва», со стихотворением А. К. Толстого «Довольно! Пора мне забыть этот вздор, пора мне вернуться к рассудку...», переводом из Гейне, ставшим эпиграфом к роману Райского «Вера». А сколько упоминаний Пушкина,

Тютчева, Достоевского, Тургенева! Порою понять характер героя очень помогает строй его речи, схожий с речью героев литературы минувшего века.

Два писателя особенно тревожат доктора Живаго: Пушкин и Чехов. Их «русская детскость», их «застенчивая неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение». <...> Проза Пастернака плоть от плоти русской литературы века, начавшегося и закончившегося художественными открытиями двух русских гениев. Эта проза — прощание с искусством минувшего века. Печальное и благоговейное. Поэтому «Доктор Живаго» может быть назван последним романом «золотого века» русской литературы, созданным в вихре событий века двадцатого и поисках искусства ныне завершающегося столетия.

Но одновременно эта проза, этот роман — напряженное творческое усилие Пастернака продлить в иные, новые времена звучание Слова его гениальных предшественников с полным сознанием собственной отдаленности от недостижимого идеала: прозы Пушкина и Чехова. Как сознавал это и его герой, Юрий Андреевич Живаго.

*«Книжное обозрение», 24 июня 1988 г.*

## «ДОКТОР ЖИВАГО» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

### «Круглый стол» «ЛГ»<sup>1</sup>

*В разговоре о романе Бориса Пастернака за «круглым столом» «Литературной газеты» приняли участие литературовед Г. Гачев, философ А. Гулыга, писатель Р. Киреев, критики Е. Старикова, А. Турков, член редколлегии «ЛГ» С. Селиванова и обозреватель «ЛГ» К. Степанян.*

**С. Селиванова.** Понадобилось тридцать лет, чтобы мы смогли прочитать в своей стране роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». За эти годы в западной печати появилось большое количество работ о романе, появились фундаментальные исследования, были защищены диссертации... Нам же только сейчас предстоит по-настоящему осмыслить роман Пастернака, определить его место в литературе, в культуре в целом.

Разговор о романе начался — статья Дм. Урнова «Безумное превышение своих сил» («Правда» от 27 апреля 1988 г.) послужила своеобразной стартовой площадкой. Острополемическая, она, естественно, вызвала волну откликов — и читательских, и профессионально-критичес-

---

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1988, 15 июня, № 24.

ких. Публикация в «Правде» статей Андрея Вознесенского и Владимира Гусева, а также читательских писем нас в этом убеждает. Не соглашаясь с точкой зрения Урнова, его оппоненты тем не менее не оспаривают самого права критика на собственную точку зрения. Это — хороший знак обретаемого ныне демократизма мышления, способности к плюрализму мнений. Диапазон оценок романа велик, что кажется понятным, когда речь идет о произведении, не вписывающемся в привычный круг литературных представлений.

Вот и к нам в редакцию уже после выхода первого номера «Нового мира», где была начата публикация романа, стали приходить письма, в которых множество вопросов. Может быть, на некоторые из них и попытаемся мы сегодня сообща ответить?

**К. Степанян.** Наиболее часто повторяющиеся вопросы такие. Является ли «Доктор Живаго» романом о лишнем человеке, о человеке типа Самгина, «пустой душе», об «интеллигентском индивидуализме», как пишет в статье «Безумное превышение своих сил» Дм. Урнов? (Тут, кстати, возникает еще один важный вопрос: является ли этот герой как бы alter ego автора и можно ли отождествлять доктора Живаго с самим Пастернаком?) Вторая точка зрения, противоположная: врач Живаго — это «гениальный диагност», как он называется в романе, диагност общественных болезней в первую очередь, и его глазами увидена суть нравственных и психологических изломов, происходивших в годы гражданской войны в России. Или же позиция Пастернака в сочетании позиций двух героев — активного «преобразователя» Антипова-Стрельникова и мыслителя-созерцателя Живаго? Либо это вообще проза поэта, которая не претендует «на эпическую достоверность», на то, чтобы «открыть вид на внешний мир» (Р. Якобсон), то есть не эпический реализм, к которому мы привыкли в романном искусстве, а чистая лирика, которую надо по другим законам и судить и не извлекать из нее

«мораль». Вот четыре наиболее распространенные точки зрения. Но присутствует и пятая, как вы знаете: роман Пастернака являет собой образчик элитарной литературы, воспевающей имморального, сосредоточенного исключительно на себе героя, оторванного от народа, от его интересов и мирочувствия и противостоящего народной жизни.

**А. Гулыга.** Не могу согласиться с оценкой романа, данной Дм. Урновым. По-моему, совершенно недопустимо сравнивать образ, созданный Пастернаком, — Юрия Живаго, с тем образом, который был создан Горьким. Это антиподы. Пустая душа и, наоборот, душа, переполненная творчеством, переполненная бытием, переполненная мышлением. Живаго — труженик, человек, обладающий уникальной интуицией как врач и как поэт. В том, что он великий диагност, нас убеждают его коллеги; в том, что он великий поэт, мы убеждаемся сами, прочитав стихи, приложенные к роману. Мне вспоминается образ русской песни в романе. Она — как запруда: на поверхности никакого движения, а внизу, на глубине, — мощный поток. Таков и главный герой романа: у него интенсивная и продуктивная внутренняя жизнь. И когда он думает, обращаясь к своим более удачливым приятелям, приспособившимся к ситуации: «единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали», — у читателя не возникает протеста — здесь нет ни грана сомнения, это констатация факта. Большой человек был раздавлен обстоятельствами. Наша история полна подобных примеров. Достаточно вспомнить судьбу Розанова, умершего от голода, Гумилева, казненного за несовершенное преступление, Флоренского, погибшего в заключении неизвестно где и когда. Они полны были желанием трудиться на благо народа, не покидали страну, не были в стане белых.

**К. Степанян.** Кстати, ведь и у Живаго даже не возникает мысли о возможности отъезда за границу, хотя обсто-



ательства, кажется, того просто требуют — там семья, туда уезжает Лара. Но для Живаго вне Родины жизни нет...

**А. Гулыга.** В том-то и дело. Одна из центральных проблем романа, которая, кстати, волнует и Булгакова в «Мастере и Маргарите», — незащищенность творческой личности. Пренебрежение внешней стороной жизни во имя творчества всегда чревато конфликтом с окружением. Переломные эпохи перемалывают таких людей.

О трагической судьбе поэта Пастернак рассказал поэтично. Это удивительно гармоничная проза, которая сама собой переходит в стихи. Роман полон условностей, чудесных совпадений, роковых случайностей, недомолвок. Это особый, непривычный тип романа. И вместе с тем вполне достоверное эпическое повествование, политический роман, весьма актуальный сегодня. Новое мышление состоит в понимании того факта, что общечеловеческие интересы выше любых частных, что насилие в большой политике недопустимо. Как раз это постулирует Пастернак. Мы пытаемся сегодня осмыслить пройденный нами путь. Я согласен с теми, кто считает, что Сталин и 1937 год — всего лишь следствие более глубоких и ранее возникших обстоятельств, кто видит причины наших бедствий в гражданской войне. Именно тогда началась великая трагедия нашего народа — самоистребление. Пастернак понял это и написал об этом свой роман. Пренебрежение законностью, культ насилия, моральное одичание идут отсюда. Нас потрясло недавно известие о том, что в октябре 1941 года, когда шла битва за Москву, были расстреляны выдающиеся наши военачальники. Но ведь и в гражданскую войну происходило то же самое. Герой Пастернака Антипов-Стрельников кончает самоубийством, чтобы избежать расстрела. И это же не придумано Пастернаком. Мы помним судьбу командующего 2-й Конной армии Миронова, командира корпуса Думенко, других красных военачальников, расстрелянных если не по приказу, то с ведома Троцкого.

Итак, роман поэтический и роман политический. Но также и философский роман. Когда у нас подлинная поэзия смыкается с высокой политикой, возникает то, что называется русской философией. Это не неокантианство, которому учил Пастернака в Марбурге профессор Коген, а та традиционная русская мудрость, которая идет от «Слова о Законе и Благодати» вплоть до Федорова и Флоренского. В центре ее — проблема человека, свободной, ответственной личности, утверждающей, а не разрушающей жизнь. Пастернак написал роман именно о такой личности, а не об обывателе и эгоисте.

**Е. Старикова.** Признаюсь, что, несмотря на призывы к спокойной объективности, я к ней не готова. История бытования, опубликования, осуждения «Доктора Живаго» — это часть нашей собственной жизни, это всегдашнее напоминание о нашей общей трусливой немоте. Какая же тут может быть спокойная объективность? Статья Дм. Урнова, обвинившего Пастернака в повторении старых романских схем 20—30-х годов, удивляет и небрежением к поэтическому русскому слову, и невниманием к дискуссионному замыслу писателя по отношению к старым схемам советского романа об интеллигенции и революции. Роман Пастернака — о той же самой революции и о той же самой интеллигенции, но с иным отношением к старой неизжитой драме. Дм. Урнов видит несамостоятельность Пастернака даже в традиционной для советской литературы метафоре ветра как символа стихийных исторических сил. Но тогда, может быть, и Блок «списал» в «Двенадцати» свою метафору из «Капитанской дочки» — перед появлением Пугачева, помните: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным»? С каких же пор поэтическая национальная традиция — порок и больше ничего? К тому же жить в России и не изведать свирепую силу ветра на ее незащищенных просторах — это надо умудриться. На недавней конференции писателей и историков в Академии общественных наук

Г. Белая задала Дм. Урнову три вопроса: почему роман анализируется вне контекста истории творчества Пастернака (это очень удобно: отсечь автора от его романа)? Далее, почему роман анализируется вне контекста изображенной им реальности в нашем сегодняшнем ее понимании? И, наконец, как можно что-нибудь понять в этом романе вне поэтики Пастернака-поэта? Я бы добавила к этим контекстам еще один *непеременный* контекст: роман нельзя понять вне времени, когда он писался. Можно ли сегодня не обратить внимания на такую историко-литературную метафору: герой уходит из жизни в 1929 году, автор заканчивает роман в 1956-м? Я прекрасно помню, что осенью 1956 года рукопись «Доктора Живаго» была в Гослитиздате. Предполагавшийся ее редактор мог бы рассказать много интересного о судьбе рукописи и о ее авторе. Таким образом, роман Пастернака в основном был написан до XX съезда партии, перед съездом. Многие, наверное, помнят одно устное предание. Когда Пастернак отказался подписать письмо с осуждением Зощенко и Ахматовой, Сталин сказал: «Оставьте в покое этого небожителя». И вот этот небожитель, который мог бы спокойно переводить Шекспира, если не писать стихи, создает роман, свободный от заданных до того схем. Он совершает подвиг. Он пишет, что гражданская братоубийственная война — не только тема для «речистых былинников», это народная беда. Когда русский врач стреляет в русского гимназиста — это прежде всего беда. В первый раз советский писатель произносит открыто слово «лагерь». Тот самый «лагерь», о котором мы так скорбим. И никто еще не мог тогда кинуть Пастернаку в лицо, что он злоупотребляет «дежурным» сюжетом. Можно ли равнодушно пройти мимо гражданского подвига поэта и философа? Нам нужны глубокие и объективные исследования романа Пастернака в совокупности всех исторических и литературных контекстов.

**Г. Гачев.** Я все-таки хочу предложить некий анализ

романа. Роман — как опера. В нем есть либретто. Некоторые критики, разбирая роман, остаются на уровне либретто. Вслушаемся же в музыку. Живаго — жизнь. История и Жизнь — вот проблема, сюжет романа. В XX веке История обнаружила себя как враг Жизни, Всебытия. Враг реки, тишины Дона и Матёры. Природы, запаха гречихи, кленового листа, деторождения. Но, выступая во всеоружии рассудочного, хитрого ума, История объявляет себя копилкою смыслов и бессмертий. Многие оказываются сбиты с панталыку, верят науке и газете и сокрушаются. Не то личность — человек культуры и Духа: из самой истории он знает, что такие эпохи, когда водовороты исторических процессов норовят обратить человека в песчинку, не раз бывали (Рим, Наполеон). И он отказывается от участия в истории, возвращает «свой билетик» («талон на место у колонн»), самолично приступает к творчеству своего пространства-времени, создает оазис, где обитает в истинных ценностях: в любви, природе, в свободе духа, в культуре. Таковы Живаго и Лара.

Стараться постичь Истину или покорно следовать за Историей, за сиюминутностью? Вот вопрос всегдашний (в том числе и нам сейчас). История может себе позволить все откладывать: приход к истине и счастью. У нее в запасе бесконечность (правда, дурная), а у меня-то срок отмерен — лет 70. И за них мне единственный шанс — постичь Истину и прожить по совести с Бытием и счастливо. Ибо время может быть хуже (как было) или лучше (как вроде сейчас). Но ты, человек, должен быть только лучше. И это всегда можно, даже в катастрофе гражданской войны и в концлагере. Об этом и роман. Исторический процесс весь в кишении, хаосе орущих друг на друга относительных правдоподобий. Но среди их сумятицы я призван проориентировать себя прямо на настоящее Всеблаго, которое все целиком при тебе: здесь и теперь и в любой миг и ситуации. И так и держи себя при безусловных ценностях. Они ведь просты: любовь, осмысленный

труд, красота природы, свободная мысль. Все это дешево. Как говорил Скворода: «Благословен Господь, кто содеал все нужное — нетрудным, а все трудное — ненужным». Начальствование в кабинете, ресторан и любовница — это и трудно, и дорого, и вредно для здоровья. А косьба по росе, окрошка на квасе и любовь жены в семье — не трудно, и божественно, и дешево. Поняв это, так и живут герои романа. Ведут частную, честную жизнь. Живаго — чеховский врач, Лара так вообще стала кухарка и прачка. Но душу живую растят, сокращая потребности телесные. Открыты природе и культуре. В них слух на всю толщу Бытия, на всю красоту. В них Разум восхищенный, Эрос духовный, творческий, что с настоящим Прекрасным связует. А в Истории рядом кипит разум возмущенный, который из n-измерений бытия видит лишь одно — материальный уровень. Он не видит, а ненавидит. В этом тоже есть правда — но одна, а не вся. А в нашем сознании почему-то этот социально-политический горизонт существования выступил как узурпатор Всебытия. Ведь Жизнь тысячеслойна. Она и в пахоте, и в дружеской пирушке, и в первом снеге, и в звуке Шопена, и «взор во взор...». Как собака, глупая и добрая, роскошь Бытия лезет-просится к людям простодушно: ну услышь! Все это слышат Пастернак и его герои. Но люди в каком-то наваждении узкоглазом видят лишь далекую конечную цель, а всю реальность вокруг им закрывают колеса Истории. Лезут переделывать, передавливать Жизнь и природу, на которую у них и понятия, и слуха-то нет. Чуткий слух Живаго и Лары на красоту природы и разум быта, то, что у нас раньше ругали как «эстетство», — это предтеча нынешнего слуха на экологию, на Байкал. Растяжка всякого мгновения: «Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность». Замедление. Остановись, не беги, созерцай, человече! И ты при жизни — в раю Всебытия.

И даже само колесо Истории приспособлено в романе для открытия первозданных ценностей быта и природы. Голод в революции делает божественным вкус ухи из селедки и каши из пшена. Холод и полено открывают теплоту «любовей, дружб и семей».

Но не одни лишь радости открывает личности Жизнь, она требует и жертвы. Пастернаковский человек — эта личность Всебытия — и тут талантлив оказывается: перейти из язычества в христианство. От упоения божеством каждого мгновения, через любовь к ближнему, к ее высшему акту — жертве. Не случайно усиливается новозаветная символика к концу романа. И у Всебытия есть своя история: это начавшаяся с Христа совокупность подвигов любви и трудов по преодолению смерти. На эту историю должен проориентировать себя человек. И тогда он — светоч и родник ценностей, которые уже могут истечь и в историю общества. История общества приносит страдания личностям, но и они ценность, вызов к творчеству любви и силе Духа. А уж наше семидесятилетие — это просто огромное поле для труда Духа и Слова, для осмысления. Если мы осмыслим, тогда недаром эти опыты и страдания.

Еще о жанре несколько слов. Роман — это взаимосоливающий диалог Бога Живаго, Всебытия, которое постижимо через пиитический восторг образов, — и Истории, которая есть прозаическая действительность, требует романа как плетения сюжета, бытописания, рассудочной мысли. Все линии и пласты и тона здесь именно усиливают друг друга, как в партитуре: оттеняют, скорее — окрашивают. Ведь царственному богатству Жизни нет прямого доступа к нашему рассудку (она многомерна, а рассудок линеен и однозначен). И потому Всебытие имеет голос через густую метафорическую ткань. Тем-то и уникален: этот роман поэта. Как у Пушкина сказано: роман и роман в стихах — «дьявольская разница». Надо ценить возлюбленную непохожесть — и сию белую ворону пас-

тернаковского романа в мировой и в русской литературе.

**Р. Киреев.** И все-таки что такое «Доктор Живаго»? Тут прозвучали такие определения: роман поэтический, роман политический, роман-опера, роман — взаимоусиливающий диалог. А вот академик Лихачев считает, что это вообще никакой не роман, что это род автобиографии, не совпадающей по своей внешней событийной канве с реальной жизнью автора. То есть речь идет, насколько я понимаю, об автобиографии духовной. И все-таки зачем в таком случае вымышленные события, зачем вымышленный герой? Неужто и впрямь затем лишь, что читатель в такого «подставного героя» (я цитирую Лихачева) «поверит быстрее, чем в автора»? Мне этот довод не кажется убедительным. Более того, именно в беллетризации духовной автобиографии видится мне изначальный стратегический просчет Пастернака. И дело тут не только в том, что по складу своего дарования он все же поэт, а не эпик. Прозе, которую я условно, для себя, называю *поздней* прозой и к которой по своей внутренней сути тяготеет главная, итоговая книга Пастернака (потому хотя бы, что и главная, и итоговая), — прозе этой органически чужда всякая беллетризация. Можно ли себе вообразить «Былое и думы», написанное в форме романа? Я привожу этот пример не только потому, что герценовская книга является — для меня, во всяком случае, — образцом того, что я называю поздней прозой. Думаю, есть тут сходство и в масштабе замыслов. Как и «Былое и думы», книга Пастернака — это прежде всего документ эпохи, написанный одним из ярчайших ее представителей. Даже органические изъяны этого произведения — неадекватность замысла и его воплощения, несоответствие содержания и формы — носят на себе печать эпохи. А может быть, даже являются результатом прямого ее воздействия. Где Герцен писал свою книгу, чисто географически, а где Пастернак? И в такую ли форму отлилась бы духовная автобиография по-

эта, создавай он ее в других условиях? Географических хотя бы. Пастернак этих других условий не пожелал. Пастернак сделал свой выбор и незадолго перед смертью подтвердил его. Я имею в виду его открытое письмо к Хрущеву с просьбой дать возможность умереть на Родине. То, о чем я сейчас говорю, лежит не рядом с романом «Доктор Живаго». Все это, убежден я, — тоже роман «Доктор Живаго», продолженный за пределами книги. Быть может, это и есть самые драматичные его страницы. Не на них ли, на горьких этих страницах, появляется наконец подлинно главный герой? Не «пустая душа», не «безмыслица» (это я Урнова цитирую, который, в свою очередь, цитирует Горького и Белого), а крупный поэт, исполненный мужества и достоинства. Это в той-то свистопляске, которая, собственно, возвестила конец «оттепели».

Урнов, естественно, понимает, что роман Пастернака не заканчивается с окончанием книги, но говорит о его «продолжении» довольно странно. «Разумеется, — пишет он, — и тупое сопротивление играло свою роль...» Обратите внимание на это «и». Выходит, вовсе не «тупое сопротивление» сыграло решающую роль в судьбе книги, не «косность» (Урнов называет силы, приведшие наше общество на грань катастрофы, «косностью»), а что-то другое. Что? Уж не соображения ли эстетического характера? Урнов, во всяком случае, намекает на это.

**А. Турков.** Роман Пастернака естественно вписывается в контекст большой русской литературы. Напряженные мысли Живаго о России, о революции, «о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии», все его горькие сомнения и колебания родственны раздумьям таких его старших современников, как Короленко и Блок. Высокая «блоковская» нота явственно ощутима, к примеру, когда доктор благополучно возвращается домой после передрыг мировой войны, даже «пирует» (по тогдашним меркам!) с семьей и друзьями и... не испытывает возж-



деленного покоя: «...оказалось, что... счастье обособленное не есть счастье...»

Приняв Октябрь по-блоковски — с открытым сердцем («Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы!»), — Живаго затем трезво и часто острокритически всматривается в происходящее, угадывая и возникающие впереди опасности, подобно тому, как это сделал Короленко в своей известной переписке с Луначарским.

В критике же пока что пошли в ход весьма, мягко говоря, спорные сопоставления пастернаковского героя с горьковскими и чеховскими. Не удержусь тогда от одной параллели и я (ее, собственно, наметил еще Н. Вильмонт в своих записках о Б. Пастернаке — «Новый мир», 1987, № 6). В конце романа «где-то высоко у раскрытого окна над необозримую вечернюю Москву» друзья читают «тетрадь... писаний» покойного Живаго. «И Москва внизу и вдали... казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу которой они подошли... в этот вечер». Вспоминаются размышления одного из героев чеховской повести «Три года» — Ярцева: «Москва — это город, которому придется еще много страдать», — и одолевающие его туманные видения, где мысли о пережитом в давно минувшие века «подсвечены» какими-то тревожными предчувствиями.

Вот родня и предтеча пастернаковского героя, а уж никак не профессор Серебряков, доктринер, пристающий к близким с прописями вроде: «Надо, господа, дело делать!» — или Клим Самгин.

**Г. Гачев.** У меня вот какое соображение по поводу богатства или бедности души Живаго. Быть абсолютной мембраной, антенной, слышать все — это что, пустота? Высшая полнота может не иметь своего содержания, чтобы слышать все. Это вообще есть божественное Ничто. Ничто как основа в Боге (Майстер Экхарт). Так же и поэт. Он должен быть пуст. Чтобы быть эхом всего. Быть

подлежащим всех возможных сказуемых. В этом смысле поэт тоже ничто. «Доктор Живаго» — это нововведение в жанр, роман-житие, можно так сказать.

**А. Турков.** Да, в романе есть фраза, очень важная для его понимания, благословляющая тот рубеж в мировой истории, когда «отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной». Жизнь героя вбирает в себя очень многое — и не только за счет драматических перипетий, происходящих с самим Живаго, а потому, что с ней многократно пересекаются другие судьбы и она чутко отзывается, выражаясь слогом автора, на гул чужих существований. Позиция «постороннего наблюдателя» в том осудительном смысле, какой мы ей порой придаем, предполагает бесстрашие. Но вот уж чего у Живаго нет и в помине. Он — сплошное раненное жизнью сердце. А если герой в конце концов перестает быть, выражаясь трафаретно, активным участником жизни, так потому, что, в сущности, молчаливо возвращает свой билет на существование, не в силах совладать с тем течением, какое принимает жизнь.

Не забудем и то, что перед нами — особая проза, написанная поэтом, со всей ее открытостью и... определенной уязвимостью. В одном из самых программных для Живаго стихотворений сказано: «По той же дороге, чрез эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы». Можно сказать, что известная «бестелесность» порой чувствуется в образах Живаго и особенно Лары, но «отпечаток» подобных судеб роман доносит очень явственно.

У гроба любимого Лариса Федоровна испытывает такое ощущение, точно она уже «без счета теряла Юрия Живаго». И мы, современники, можем сказать, что тоже без счета теряли таких, как он, в самых разных ипостасях, лицах и воплощениях, — не только угасавших в такой же мизерабельности, как сам доктор или бедствовавший Анд-

рей Платонов, а то и ставших «лагерной пылью», как Осип Мандельштам и Николай Клюев, но даже сравнительно «благополучных» и «всего лишь» никак не сумевших реализовать заложенное в них.

**А. Гулыга.** Мне хочется возразить Р. Кирееву по поводу несоответствия формы и содержания. Ведь помимо беллетристической формы, у романа может быть иная. Не только в немецкой культуре (которая была знакома Пастернаку), но и в отечественной сложилась традиция размышляющей прозы. Вспомним «Русские ночи» Одоевского, вспомним Булгакова.

**Р. Киреев.** Меня не убеждает ваша апелляция к немецкой традиции. Вспомним и Гёте. У него тоже есть проза, которую можно считать и прозой поэта, и поздней прозой, и прозой автобиографической. Я имею в виду «Поэзию и правду...». Но книга эта не только не беллетристична, она, если можно так выразиться, антибеллетристична. Пастернак же старается спрятаться именно в беллетристику. Это не могло не сказаться и на стилистике романа. Вот смотрите: «В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию». Это же конспект. Если вы это называете прозой поэта...

**К. Степанян.** Но буквально тут же за приведенной вами фразой, на следующей странице, следует тончайшая поэтическая, философская миниатюра о тайне жизни и смерти, возникающая в связи с занятиями Юрия Живаго на медицинском факультете... Мне кажется, что к этому типу прозы вообще применимы слова из «Сна смешного человека» Достоевского: «Перескакиваешь через пространство и время... и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце». Но уж в этих точках достигается такая концентрация, «сгущенье мирозданья» (Н. Вильмонт), что его хватает на заполнение всех предыдущих и последующих пустот.

**Е. Старикова.** А я согласна с Р. Киреевым: и с его ощущением неполной удачи Пастернака в создании гармоничной формы эпической прозы, и с уверенностью в живой жизни романа сегодня. Как бы ни объяснять жанровые особенности романа, впечатления художественной гармонии он все-таки не оставляет. Дивные описания природы и города, проникновенные мысли, абсолютная искренность, глубокий замысел — и рядом прозаические скороговорки, даже какие-то наивные словоупотребления, сюжетные провалы, необъяснимые смысловые пропуски (какова, например, все-таки тайна жизни Евграфа Живаго?). Но тут же доминирующее впечатление: как современна уверенность поэта в первичности для человека и человечества их природной сущности, их органической причастности к земле и космосу.

**Г. Гачев.** Р. Киреев напомнил, что Герцен «Былое и думы» писал на свободе, а Пастернак — в своем тайнике, подпольно. Так в этом и преимущество! На Западе, затеяв писание, человек понимает опубликование — и тем обужен. А мы в наших условиях, слава Богу, испытали счастье отчаяния. Писать не на рынок и не на потребу власти. Свобода ведь не дается, она создается.

**К. Степанян.** «Свободе надо учиться! Я учусь», — говорил Б. Пастернак. И действительно, «Доктор Живаго» — это учебник свободы, начиная со стиля и кончая — о чем говорил Г. Гачев — умением личности утвердить свою независимость от тисков истории. Но вот какой вопрос возникает в этой связи.

Г. Гачев говорил о том, что Живаго и Лара отказываются от участия в истории, создают оазис, где обитают, как в раю, в истинных ценностях — в любви, природе, в свободе духа, в культуре. Но вспомним исповедь Стрельникова перед смертью, его рассуждения о том, что невозможно пребывать в раю, отказываясь от переделки жизни, когда бедные люди вокруг живут в муках: «Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих ка-

зарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженнике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменьких сынков, студентов белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделялись от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных...

А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они... Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады...»

Вот такие две позиции противопоставлены в романе. Можем ли мы безоговорочно отдавать предпочтение первой? Этическое оправдание — не на стороне ли второй?

**Г. Гачев.** Здесь вопрос об органическом и искусственном развитии России с ее пространствами и малонаселенностью не может быть присущ тот темп, каким развивается Англия, Франция... Медведь не должен семенить, как лиса.

После реформы 1861 года началось всеохватывающее развитие естественным темпом, но снова... Будто ревнуя к разуму своих жителей, государство рванулось хозяйничать и степенного мужа — народ — в вечных недорослях держит, выкидывая лозунги. Такой вождь-умник, поднявший меч и кнут, — Стрельников. Он — отрок-акселерат из рабочих; ускоренное вытягивание его рассудка — к смерти: он вторгается в живую жизнь, намереваясь насильственно ее переделать по теории, сам будучи недоразвитым в органах чувств (хваленый аскетизм революционеров) и не видя того богатства Бытия, которое — есть, и «на что он руку поднимал!..». В этом смысле созерцательность Живаго есть вслушивание в органический процесс, и такая позиция — не элитарность, а прецедент: в будущем каждому чувствовать себя всегда в толще

со-Бы-тия, а не только на плоском горизонте этой самой политики и социальной площадки.

**А. Гулыга.** Юрий Живаго не индивидуалист уже потому, что он доктор, врачеватель, он лечит людей, он живет для них, так что можно и нужно сразу же отвести обвинение в том, что главный герой живет только для себя. Он и по профессии своей обращен к людям, и по своему духовному складу. Как истинный христианин, он обращен к людям, ко всем. И, наоборот, Стрельников — носитель эгоистического начала. Им владеет эгоистическое самообольщение, что можно своей рассудочной схемой создать счастье на земле для всех. И он гибнет именно как жертва такого ошибочного подхода к жизни. Здесь развенчание человека, который счет ведет на полки и роты, для которого отдельная человеческая жизнь ничего не значит. Именно поэтому он и совершает, между прочим, тяжкий грех, который почему-то у нас последнее время стали возводить чуть ли не в добродетель, — самоубийство, величайшее нравственное преступление.

**Е. Старикова.** А как вы относитесь к упреку в том, что у Живаго нет идейного оппонента?

**А. Гулыга.** Оппонент доктору — человеческая мясорубка, которая идет вокруг него.

**К. Степанян.** Мне довелось говорить с Б. Можаяевым о романе «Доктор Живаго», и он сказал, что оппонент нужен в произведении, создаваемом по законам драматургическим, а тут особые законы поэтического реализма, тут оппонент не нужен и не требуется.

**А. Турков.** В какой-то степени «оппонирует» судьба двух приятелей Живаго — Дудорова и Гордона, они горячо с ним спорят, а потом, собственно говоря, сами жизнью разбиты, перевернуты. И потом Стрельников тоже в какой-то степени его оппонент, и гибель этого оппонента показательна.

**Г. Гачев.** Еще один оппонент, дружественный оппонент, — это народная жизнь: и Вася Брыкин, и Глафира,

эти бабы, Памфил Палых — все страдатели, которые вовлечены в эту катавасию, он же к ним прислушивается абсолютно с сострадательным чувством и от них слышит народную правду. Он интеллигент, человек культуры, но он никогда себя им не противопоставляет. В них субстанция вечной жизни, которая все равно возьмет свое.

**С. Селиванова.** Думается, что сегодняшней разговор интересен во многих отношениях. Хотелось бы надеяться, что он в чем-то поможет глубже понять роман Бориса Пастернака. В то же время он еще раз подтвердил, как по-разному все-таки мы читаем, как тесно соединено восприятие произведения с нашим собственным духовным, профессиональным, житейским опытом. Например, очень интересные идеи высказал сегодня Георгий Дмитриевич Гачев, еще раз обнаружив совершенно оригинальный способ своего мышления. Не уверена, что предложенное им прочтение Пастернака приблизит читателя к роману, но, безусловно, откроет для многих особенный, незаурядный мир критика.

Очень любопытен возникший сегодня спор вокруг жанра романа Пастернака. Спор не схоластический, а имеющий сущностное содержание. Ведь в данном случае определить жанр — это найти ключ к роману, обнаружить те особенные законы, по которым он написан. Это — законы поэтической прозы, где главное — не эпичность, не беллетризм, а движение души, нюансы чувств и переживаний. Житейская биография и биография духовная — а именно как такого рода автобиографию определил жанр романа академик Д. С. Лихачев — вещи принципиально разные. Не случайно вспомнилось сегодня знаменитое пушкинское: роман и роман в стихах — «дьявольская разница».

Другая важнейшая проблема, поставленная романом, — человек и история. И здесь, кажется, Пастернак вырывается из привычного круга традиционных представлений. Можно ли считать «Доктора Живаго» последовательным продолжением русской реалистической традиции, понима-

ния ею этой центральной для отечественной литературы проблемы — человек и история? Здесь есть предмет для раздумий, для анализа. Философия истории в романе, концепция личности — новаторство Пастернака в трактовке этих узловых моментов для меня, во всяком случае, очевидно. К сожалению, говоря сегодня больше о традиционности Пастернака, мы мало затронули вопросы именно особенного, нового в его романе, что внесено сознанием и культурой XX века, века величайших перемен и жесточайших катаклизмов.

Одним словом, вопросы остаются. Наше обсуждение — только первые попытки ответить на некоторые из них.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Вознесенский. Книга судеб и судьба книги.</i> . . . . .	5
---	---

### I

От редакции «Нового мира». . . . .	10
Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б. Пастернаку.	12
<i>Д. Заславский. Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка</i> . . . . .	42
О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя. Постановление президиума правления Союза писателей СССР . . . . .	49
Об отмене постановления 1958 года. . . . .	52
Стенограмма общесоюзного собрания писателей 31 октября 1958 года. . . . .	53
Резолюция общего собрания писателей гор. Москвы, состоявшегося 31 октября 1958 года. . . . .	104
Письма читателей «Литературной газеты» 1958 года. . . . .	106
Никите Сергеевичу Хрущеву ( <i>письмо Б. Пастернака</i> ). . . . .	110
<i>Вяч. Вс. Иванов. Как было написано письмо Б. Пастернака.</i> . . . .	111
Заявление ТАСС. . . . .	113
Из выступления В. Е. Семичастного на Пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 года. . . . .	114
Сегодняшний комментарий В. Е. Семичастного. . . . .	116
<i>Б. Пастернак. Нобелевская премия.</i> . . . .	118

## II

Из истории создания «Доктора Живаго» . . . . .	120
Из переписки Б. Пастернака . . . . .	127
<i>Д. С. Лихачев.</i> Размышления над романом Б. Л. Пастернака . . .	170
Прототипы и жизненные истоки романа. . . . .	184
<i>Н. Иванова.</i> Искушение. . . . .	190
Говорят сегодняшние читатели. . . . .	212
<i>Д. Урнов.</i> «Безумное превышение своих сил». . . . .	215
<i>А. Вознесенский.</i> Свеча и метель . . . . .	226
<i>Вл. Гусев.</i> Дума об идеале . . . . .	233
На перекрестке мнений ( <i>фрагменты из статей и рецензий</i> ) . . .	239
«Доктор Живаго» вчера и сегодня. «Круглый стол» «Литератур- ной газеты» . . . . .	265

*Составители:*

*Леонид Владленович Базнов  
Леонид Борисович Воронин*

*С разных точек зрения*

**«ДОКТОР ЖИВАГО»  
Бориса Пастернака**

*Сборник*

Редактор

**А. Г. Панова**

Художественный редактор

**Ф. С. Меркуров**

Технический редактор

**Н. В. Сидорова**

Корректор

**Л. И. Жиронкина**

ИБ № 7787

Сдано в набор 05.01.90.

Подписано к печати 01.06.90. А 03103.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офс. № 1.

Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,2.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 18.

Цена 65 коп.

Ордена Дружбы народов  
издательство «Советский писатель»,  
121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография  
Государственного комитета СССР по печати,  
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

С 11      **С разных точек зрения: «Доктор Живаго» Б. Пастернака.** М.: Советский писатель, 1990.— 288 с.

ISBN 5—265—01511—6

Трагична история публикации этого произведения Б. Пастернака, которое только через тридцать лет после своего завершения пришло к нашему читателю. Но и сегодня «Доктор Живаго» вызывает наш интерес и споры о герое-интеллигенте, о философии истории, о взаимосвязи автобиографии писателя и его поэтического мира. На этих проблемах скрестились мнения академика Д. Лихачева, писателей и критиков А. Вознесенского, Вл. Гусева, Д. Урнова, Н. Ивановой...

4603020101 — 267

С 

---

 449 — 90

083 (02) — 90

**ББК 83 3Р7**

**Лягушка в болоте...**  
 Я как был хвостиком в...  
 Клеял это с тобой...  
 Теперь хвостик  
 Ладно устал.

**ШУМИХА РЕАКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ ВОКРУГ ЛИТЕРАТУРНОГО СОРНЯКА**  
 ВРЕГ  
 ...

**ГНЕВ И ВОЗМ**  
**К МОСКОВСКИМ РАБОТНИКАМ**  
**Советские люди осуждают действия**  
 ...

**ЕДИНОДУШИЕ**  
 По отношению к социальным...  
 ...

**ПРЕКРАСНА НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  
 Как и восточные...  
 ...

**Пасквилянт**  
 В. Мухоморов...  
 ...

**О дейст**  
**Б.**

Пастернак  
 Пастернак  
 Пастернак

ПОЛЕМИКА

# «Доктор Живаго»

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Круглый стол

Вопрос: актуальность и  
 значение романа для  
 нашей страны. Кто автор  
 романа? Как восприняли  
 его в то время? Как  
 восприняли его сейчас?  
 Почему актуальность  
 романа не уменьшается  
 с годами?

Вопрос: актуальность романа  
 для нашей страны. Кто автор  
 романа? Как восприняли его  
 в то время? Как восприняли  
 его сейчас? Почему актуальность  
 романа не уменьшается с годами?

## НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ ПОЭТА

С юбилеем поэта  
 по литературе  
 Владимир А. Д. Пастернак



Накануне столетия Владимир Александрович Пастернак. Это один из величайших поэтов XX века. Его творчество — это творчество человека, который не боялся ответственности за свое слово. Он был человеком, который не боялся ответственности за свое слово. Он был человеком, который не боялся ответственности за свое слово.

Перые  
 Пастернаковские  
 чтения

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР  
 КОМПЕТЕРИЙНО-ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ПИСАТЕЛЕЙ  
 ИМ. А. А. ФАДЕЕВА

ПРОСАБАДУ ВАШ  
 НА ВТОРЫЕ ПАСТЕРНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ВТОРЫЕ  
 ПАСТЕРНАКОВСКИЕ  
 ЧТЕНИЯ

Открытие — в 11 часов  
 10 февраля в ЦДК им. А. А. Фадеева  
 6 Москва, Метро ЦДК им. А. А. Фадеева  
 191, Голубый 201

...члена Союза писателей СССР  
 Пастернака, не совместимых  
 званием советского писателя  
 премии президента Союза писателей СССР  
 имени Пастернака Союза писателей РСФСР,  
 имени Пастернака Московского отделения  
 РСФСР

Вокруг «Доктора Живаго»  
 В КРЕСТКЕ МНЕНИЯ

6 июня 1988 года





65 коп.